Военные Приключения

СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ГРАММОВ до Берлина

МИХАИЛ СОЛОВЬЁВ

Военные приключения (Вече)

Михаил Соловьёв

Сто двадцать пять граммов до Берлина

«ВЕЧЕ»
2026

УДК 821.161.1-311.3
ББК 84(2)

Соловьёв М. А.

Сто двадцать пять граммов до Берлина / М. А. Соловьёв — «ВЕЧЕ», 2026 — (Военные приключения (Вече))

ISBN 978-5-4484-6212-2

Март 1942 года. Ленинград. Юный рабочий Путиловского завода Лёня Глебов передаёт санитарам тело умершей от голода матери. Сам он – «доходяга», едва держащийся на ногах. Но в тот же день пишет рапорт: просит снять с него заводскую бронь и отправить на фронт. Он дал слово уже мёртвой матери дойти до Берлина и не оставить там камня на камне. Так начинается его война. Болота под Любанью, первый бой, гибель старшего товарища – человека по прозвищу Ладога – и собственное ранение. Но остановиться уже нельзя. К Берлину он придёт комбатом, пройдя всю Европу в шинели, пропитанной потом и кровью. «Сто двадцать пять граммов до Берлина» – это история одного солдата. Без пафоса и громких слов. Только окопная правда, холод, боль и та нечеловеческая сила, которая позволила нашему народу выстоять и победить!

УДК 821.161.1-311.3
ББК 84(2)

ISBN 978-5-4484-6212-2

© Соловьёв М. А., 2026
© ВЕЧЕ, 2026

Содержание

Глава первая 6
Глава вторая 11
Глава третья 16
Глава четвертая 21
Глава пятая 25
Глава шестая 30
Глава седьмая 35
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Михаил Соловьёв
Сто двадцать пять граммов до Берлина

Военные Приключения ®

Серия «Военные приключения»

«Военные приключения»® является зарегистрированным товарным знаком, владельцем которого выступает ООО «Издательство «Вече». Согласно действующему законодательству без согласования с издательством использование данного товарного знака третьими лицами категорически запрещается.

Вече

© Соловьёв М.А., 2026
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2026

Глава первая
Первая весна

Холод в комнате был особенный. Не зимний, резкий, от которого щиплет щеки. Мартовский – выхолощенный, опустошённый. Он не наступал с улицы – он просачивался из самых стен, из каждой щели в рассохшемся паркете, из книжных переплётов, из глубины мебели. Этот холод был не температурой воздуха, а его сутью. Он стоял недвижно густой, вязкой массой, и дышать им было всё равно что глотать мелко наколотый лёд, остротой впивающийся в глотку и лёгкие.

Лёня вошёл, притворил дверь, стараясь не стучать. Но холод скрипел за него – старыми половицами, оконной замазкой, лопнувшей штукатуркой. Каждый звук в этой тишине был предательством, нарушением всеобщего закона немоты и замирания.

Он стянул с головы байковую повязку – не то шапка, не то капор, бесформенный комок, который давно перестал греть, а лишь собирал на себе иней от дыхания. И сразу, кожей лба, ощутил ледяное безразличие комнаты. Снял промерзшие насквозь, скользкие от уличной грязи ватные рукавицы. Пальцы не гнулись, были похожи на слепые, обмороженные сучки, примёрзшие к ладоням. Он подул на них, но дыхание было таким же холодным, как и всё вокруг, от этого только закружилась голова.

– Мам?

Голос сорвался в шепот. От частого неупотребления. От страха нарушить что-то важное, хрупкое, что ещё держалось здесь на волоске. Голос, казалось, замерзал в воздухе, не долетая до кровати.

На кровати, под горой всего, что ещё оставалось в доме из ткани – стёганое пальто, ватное одеяло, праздничная скатерть с вышивкой, мамина хорошая, некогда тёплая шаль, – лежала Анна Петровна. Лицо – восковая копия, сделанная плохим, равнодушным мастером. Слишком острые скулы, выпирающие, как камни из-под земли. Слишком глубокие глазницы, поглотившие глаза. Но сами глаза были ещё живы. Они смотрели не на него, а в потолок, внимательно, почти учёно следя за движением серой трещины, что от угла медленно, день за днём, ползла к розетке паучка, как стрелка невидимых часов, отсчитывающих обратный ход.

Лёня подошёл, сел на табурет у «буржуйки». Железная печурка, чёрная и замкнутая в себе, была холодной на ощупь, как гробовая плита. Вчерашняя зола слежалась в плотный, безжизненный комок, похожий на ком земли. Ни тепла, ни намёка на него.

Он вытащил из внутреннего кармана телогрейки, откуда ещё слабо билось собственное тепло, свёрток. Газетная бумага, пропитанная потом и затхлостью, разворачивалась с сухим, похожим на шёпот, шелестом.

– Принёс, – сказал он, протягивая краюху. Просто констатация факта. Больше нечего было добавить.

Это были его сто двадцать пять граммов. Рабочая пайка, выданная сегодня утром за смену у холодного станка. Два тёмных, влажных на ощупь куска, похожих на плотный, сырой грунт, на глину, из которой можно лепить что угодно, только не еду. Сегодня, однако, был хороший день – хлеб был с примесью овсяной муки, от него чуть меньше першило в горле и не так сводило желудок судорогой.

Глаза Анны Петровны медленно, с невыразимым усилием, словно преодолевая сопротивление невидимой толщи, съехали с потолка. Остановились на хлебе. Потом на сыне. Взгляд был мутным, но в нём вспыхнула крохотная, знакомая искорка – не голода, а тревоги. Вечной, материнской тревоги.

– Ты… съел? – выдохнула она. Слова выходили рвано, обрывками, между ними зияли пустоты и паузы, как между досками разобранного на дрова забора.

– Я поел. На заводе. Бурду давали, – солгал он, не моргнув. Ложь стала такой же привычной, как чувство голода, как этот холод. На заводе действительно давали «суп» – кипяток с налётом ржавчины из котла, в котором плавали два-три пятнистых, прозрачных листа капусты и, если очень повезёт, крошки жмыха, похожие на древесные опилки. Но он не ел. Отдал свой черпак старому фрезеровщику, у которого дома лежали двое внуков.

– Ложись, – прошептала она. Это было её главное, коронное, единственное слово последнего месяца. «Ложись. Не ходи. Экономь силы». Оно заменяло всё: и «как дела?», и «я люблю тебя», и «держись». Оно было последним берегом, на который она могла его вытолкнуть из общего круговорота умирания.

Лёня положил хлеб ей на грудь, под шаль, стараясь не смотреть на то, как рёбра выпирают сквозь тонкую ночную сорочку. Её рука – кисть птицы, обтянутая сухим жёлтым пергаментом, – дёрнулась, попыталась оттолкнуть дар. Но мускул не сработал. Пальцы лишь скользнули по шершавой газете, оставив на ней едва заметные бороздки, и замерли, потеряв направление.

– Бери, Лёнек… Тебе… работать…

– Я возьму потом, – сказал он, отвернувшись, чтобы она не увидела, как у него дрогнула челюсть. Потом он уже никогда не брал.

Он встал, подошёл к полке. Там стояли книги. Не те, что мама когда-то берегла, перечитывая долгими вечерами, – Тургенев, Чехов, томик Блока с закладками. Их сожгли ещё в январе, в самые лютые дни, когда смерть от холода казалась ближе и реальнее смерти от голода. Стояли толстые, в прочных кожаных переплётах, тома технических справочников отца и дореволюционные энциклопедии. Бесполезный балласт, который нельзя было съесть. Лёня взял первый попавшийся – «Справочник по чёрной металлургии, 1938 г.». Листы были плотные, хорошие, не глянцевые, матовые, они должны были хорошо гореть.

Он разорвал обложку по корешку с тихим, удовлетворяющим треском. Потом стал методично, не торопясь, сминать страницы в рыхлые, непослушные комки. Движения его были точными, почти ритуальными. Из кармана достал коробок, вынул последнюю спичку, тщательно ощупав её головку. Присев перед чёрным зевом печки, сложил бумажные комья в зольник, аккуратно, как учил отец когда-то в походе: «Воздух должен ходить, сынок, иначе задохнётся». Спичка чиркнула о коробок с сухим, одиноким треском, вспыхнуло жёлтое, неровное пламя, такое живое и невероятное в этой мёртвой комнате. Он поднёс его к бумаге. Она занялась не сразу, нехотя, с шипением и клубами едкого дыма. Потом потянулось первое жидкое, драгоценное тепло. Оно было ничтожным, но оно было.

Лёня протянул к огню руки. Пальцы посинели, ногти были фиолетовыми, почти чёрными. Боль пришла не сразу. Сначала – дикое, нестерпимое покалывание, будто в кожу, в самые кости, впились сотни раскалённых иголок. Потом боль, острая, ясная, почти сладостная. Он сжал зубы так, что хрустнула челюсть, но не отдернул рук. Боль была доказательством. Неопровержимым, физическим доказательством того, что он ещё жив. Что нервы работают, что кровь, пусть и медленно, движется. Он смотрел, как кожа на костяшках краснеет, и это было маленькой победой.

За его спиной мать молчала. Только тихий, едва слышный свист в её горле при каждом вдохе нарушал тишину. Он не оборачивался. Он боялся, что свист этот может прекратиться.

Прошло два часа. Два часа, которые он прожил у огня, подбрасывая в него комок за комком, растягивая это жалкое горение. Когда последний лист «Металлургии» истлел серой, невесомой паутиной золы, он наконец обернулся.

Она не дышала.

Тишина в комнате не изменилась. Она лишь стала окончательной, завершённой, как последняя нота в симфонии. Холод, который чуть было не отступил на полшага от жалкого

жара пламени, снова двинулся вперёд, неумолимо и торжествуя, заполняя освободившееся пространство, вытесняя последние следы тепла и жизни.

Лёня не закричал. Не упал на колени. Не зарыдал. Его тело, его душа не знали, как выражать большую скорбь. Они были перенастроены на иные, более примитивные, алгоритмы: голод, холод, усталость, сохранение энергии. Скорбь была роскошью, на которую у него не было сил.

Он просто сидел на табурете и смотрел на трещину в потолке. Та самая, за которой следила мать. Он впервые разглядел её как следует. Она была похожа на реку на старой, потрёпанной карте. Или на молнию, застывшую в мгновении удара. Или просто на трещину. На разлом, разделивший его жизнь на «до» и «после». На «с ней» и «без неё».

Потом он встал. Подошёл к кровати. Аккуратно, чтобы не потревожить её вечный сон, достал из-под шали кусок хлеба. Газета была ещё чуть теплой от её тела. Этот последний, уходящий жарок обжёг ему пальцы сильнее любого пламени.

Он разломил краюху пополам. Сердце его, холодный комок в груди, диктовало чёткую, безжалостную арифметику. Одна половина – чуть больше. Другую – чуть меньше – положил обратно на грудь Анны Петровны, под ладонь, которая уже не сможет его оттолкнуть. «В дорогу», – промелькнуло в голове безотчётно, по детской, давно забытой привычке, как когда-то в счастливые, сытые годы клали конфетку или яблоко в карман уходящему в командировку отцу.

Вторую половину он взял себе. Сегодня у него был двойной паёк. Он сел на прежнее место и начал есть. Медленно. Отламывая крошечные, размером с ноготь, кусочки. Клал на язык, долго жевал, пока хлеб не превращался в безвкусную, липкую, влажную массу. Глотал с трудом, словно гальку. Запивал водой из графина на столе. Вода была ледяная, с плавающими в ней мелкими, нерастаявшими крупинками льда. Он хоронил мать. И подкреплялся её пайкой. В этом не было кощунства. Была страшная, простая необходимость. Закон джунглей, перенесённый в городскую квартиру.

Такой была новая арифметика. Два куска хлеба. Один – мёртвым. Один – живым. Счёт был сведён. Баланс соблюдён.

На улице смеркалось. Сквозь заклеенные крест-накрест полосками бумаги окна пробивался грязно-синий, угасающий свет. Он рисовал на стене бледный, расплывчатый крест – символ, лишённый всякого смысла, кроме отчаянной попытки удержать стёкла от взрывной волны. Лёня встал, подошёл к комоду. В верхнем ящике, пахнущем нафталином и тлением, лежало бельё, а под ним – то, что он приготовил две недели назад, когда ещё надеялся, но уже знал.

Две простыни. Чистые, почти не бывшие в употреблении, с жёсткими, хрустящими складками. Их не тронули даже в самые отчаянные дни, потому что они были «на черный день». Припасены для чего-то самого страшного. Черный день настал.

Он раскатал простыни на полу, смахнув с паркета пыль и крошки. Белые прямоугольники на тёмном дереве выглядели как саваны, как приглашение к последнему обряду. Потом подошел к кровати.

– Мам, – сказал он вслух, и голос прозвучал чуждо, громко в новой тишине. – Помоги.

Он наклонился, обхватил её под плечи и колени. Она была ужасающе, невероятно легкой. Легче, чем тот толстый том «Металлургии». Казалось, под одеялом и шалью лежали не кости и кожа, а пустота, обтянутая пергаментом. Он перенес её на простыню, уложил, как спящую, поправил прядь седых волос на лбу. Её лицо было спокойным, все муки и тревоги наконец стёрлись. Тот самый восковой слепок застыл окончательно, превратившись в памятник самому себе.

Он завернул её. Сначала в один слой, аккуратно подвернув края. Потом во второй, создав дополнительную прослойку, будто укутывая от мороза. Получился длинный, негнущийся, ано-

нимный свёрток. Без формы, без лица, просто тканевый цилиндр, в котором угадывались лишь общие контуры человеческого тела.

Привязать было нечем. Веревки, шпагата не нашлось – всё давно пошло на растопку или обмен. Он снял с себя ремень, толстый, кожаный, отцовский, и стянул им свёрток посередине, как перевязывают тюк. Потом надвинул на голову капор, натянул ватные, ещё влажные рукавицы. Экипировка для похоронного шествия.

Взяв свой свёрток на плечо, как несут мешок с картошкой или дрова, он вышел на лестничную клетку. Дверь за собой не запер. Щелчок замка прозвучал бы слишком громко, слишком окончательно. Да и закрывать было уже нечего. В этой комнате не осталось ничего ценного, кроме памяти, а её замком не запрёшь.

Двор был пуст и безмолвен. Сугробы, чёрные от копоти, мазута и нечистот, осели, спрессовались, превратились в бугры грязного, зернистого льда. В углу, у помойки, темнела сгорбленная фигура. Человек или тень, живой или мёртвый – разобрать в сумерках было невозможно. Лёня прошёл мимо, не глядя, не замедляя шага. Смерть стала обыденностью, соседом, которого не принято замечать.

Он шёл по Васильевскому, своему, острову, по знакомым до каждой трещины в асфальте улицам. Мимо домов с пустыми, зияющими глазницами окон, выбитых взрывной волной или просто растащенных на щепы. Мимо трамвая, застывшего на рельсах навечно, как мамонт во льду, – его каркас был скрючен, стекла высыпались внутрь. Город вокруг был монументом самому себе, своему собственному страшному, смертельному упрямству. Он не сдался. Он просто окаменел в своей агонии, прекрасный и ужасающий в этом оцепенении.

Он знал, куда идёт. Не на кладбище. Туда не дойти пешком, да и сил не было. Да и хоронить в мёрзлой, как железо, земле не могли уже с ноября. Смерть опередила могильщиков.

Он шёл к Сампсониевскому собору. Там, в глубоких, сырых кирпичных подвалах, ещё с осени был устроен морг. Или склад. Или братская могила. Разные люди называли это по-разному, суть от этого не менялась. Это была точка сбора, последний причал.

У входа в ограду, под сенью голых деревьев, стояла обычная дровяная повозка, запряжённая одной истощённой, костлявой лошадью, которая безучастно жевала пустые губы. На повозке лежали такие же свёртки. Два. Три. Бесформенные, разной длины. Санитар в грязном ватнике и марлевой маске, закрывавшей рот и нос, курил самокрутку, прислонившись к кирпичной стене. Его глаза над маской были пустыми, уставшими от вида, который уже не мог ни шокировать, ни трогать.

– Еще одна, – хрипло, откашлявшись, сказал Лёня, указывая подбородком на свой груз.

Санитар кивнул, не глядя, молча ткнул пальцем в сторону повозки. Жест означал: «Клади куда есть место».

Лёня подошёл, сбросил со плеча свой свёрток. Он мягко, с глухим стуком упал на другие. Поправил ремень, чтобы лежал ровнее, не съезжал. Постоял минуту, глядя на это тряпичное подобие матери. Что нужно сделать? Что здесь говорят? Перекреститься? Мама не была верующей, да и он отвык. Сказать что-то на прощание? Все слова казались бессмысленными, звуками пустоты.

Он ничего не сказал. Просто повернулся и пошёл прочь, не оглядываясь. Его дело было сделано.

– Фамилию! Имя! Для списка! – вдогонку крикнул санитар, его голос сорвался на сип.

Лёня обернулся. Сказал чётко, ясно, как докладывают на построении:

– Глебова. Анна Петровна.

Санитар что-то коротким, обломанным карандашом нацарапал на обрывке промокательной бумаги, пришпиленном к фанерной доске. Спросил, не поднимая глаз:

– А ты кто? Сынок?

– Сынок, – ответил Лёня. И в этом слове, впервые произнесённом вслух как приговор, как констатация нового статуса – сироты, – заключалась вся горечь.

Он больше не оборачивался. Он шёл обратно по темнеющим, безлюдным улицам. Обратный путь казался короче. В кармане телогрейки, рядом с пустым местом, где раньше лежал хлеб, у него теперь лежал мамин продовольственный аттестат. Маленькая, истрёпанная книжечка с аккуратными, но бесполезными талонами. Она была никому не нужна теперь. Но он нёс её домой. Как последнюю материальную связь, как документ, удостоверяющий, что она была. Что она имела право на эти жалкие граммы.

В голове не было мыслей. Мысли требовали энергии, а её не осталось. Было только странное, новое, всепоглощающее чувство.

Пустота. Абсолютная, как низкое, свинцовое небо над городом. И в этой пустоте – тихий, высокий, неумолимый звон. Как натянутая до предела струна, которая вот-вот лопнет, но продолжает вибрировать в немой тишине. Звон одиночества, принявшего окончательную, законченную форму.

Он был теперь совершенно один. И это одиночество, эта ледяная, безраздельная автономия были его единственным капиталом, его стартовой позицией в новой, бесконечно чужой игре, где ставкой была уже не жизнь матери, а его собственная. Игра, путь которой он уже смутно, но неотвратимо начинал ощущать, вел куда-то далеко за пределы этой комнаты, этого острова, этого замёрзшего города. Вёл на запад.

Глава вторая
Бронь

Путиловский завод не спал. Он умирал долго, мучительно, но к апрелю сорок второго научился существовать в полудреме. Гигантские цеха, где когда-то рождались турбины и танки, теперь были похожи на скелеты доисторических животных, застывшие во времени. Металлические остовы станков, некогда рождавшие лязг и грохот, молчали, засыпанные тонким серебристым инеем, который проникал даже сквозь забитые досками окна. Воздух был густым от спертой сырости, пыли и запаха остывшего металла, едкого машинного масла, которое уже не меняли годами.

Основная жизнь теплилась не на поверхности, а в глубине. В подвалах, где топились самодельные «козлики», и в нескольких отапливаемых паровым трубопроводом помещениях – там, где ещё пытались сохранить хоть какое-то подобие производства. Именно туда стекались те, у кого ещё оставались силы на труд. Там работал и Лёня.

Он трудился в ремонтно-механическом цеху № 5. Не на производстве оружия – завод уже давно не выдавал танков и орудий. Его бригада из восьми человек – старики с трясущимися руками, подростки с лицами стариков, да такие же, как он, «доходяги», – занималась только одним: поддержанием жизни самого завода, этой огромной, умирающей машины. Они латали прохудившиеся паровые трубы, без которых замерзли бы и последние тёплые помещения; чинили единственный на весь цех электромотор, питавший несколько станков и тусклую лампочку над проходной; изготавливали детали для тех самых «козликов» – примитивных печек-буржуек, что стояли в бомбоубежищах, конторах и цехах, где ещё пытались работать. Эта работа была адом в миниатюре, точным отражением блокадного быта – постоянная борьба за тепло, за свет, за выживание, метр за метром, деталь за деталью.

Сам процесс был пыткой для истощённого тела. Нужно было взять стальную болванку, зажать её в тисках и потом часами, с тупыми напильниками, которых уже давно не точили, снимать лишнее, чтобы получить простейшую втулку или проставочное кольцо. Руки не слушались, от холода и слабости соскальзывали с инструмента. Раз в два часа давали перерыв – подойти к бочке с «чаем». Это была ржавая, отстоявшаяся вода, подкрашенная щепоткой суррогатной заварки, пахшей опавшими листьями и землёй. Глоток этой тёплой жидкости согревал изнутри на пять минут – ровно столько, чтобы не упасть замертво у станка.

Сегодня Лёня точил шпильку. Сталь была плохая, сырая, с пузырями и раковинами, напильник скользил по ней, почти не беря. Он смотрел на свои руки. Пальцы, обмотанные грязными тряпками против обморожения, были похожи на деревянные клешни. В голове поверх монотонного скрежета железа по железу крутилась одна мысль: простыни. О том, сколько их ещё осталось в комоде после той, что ушла с матерью. Одну можно продать. Или обменять. На что? На хлеб? На дрова? На несколько пригоршней картофельных очистков? Арифметика снова не сходилась. Одна простыня – это, может быть, два, три дня жизни. Неполноценной, но жизни. Потом – снова пустота, холод и тихий, ледяной звон в ушах.

«Мертвые не едят», – пронеслось в голове чужой, циничной мыслью, холодной, как сталь в тисках. Он вздрогнул от собственной чёрствости и так сильно рванул напильник, что тот соскользнул, сдирая с костяшки пальца кожу. Выступила кровь. Тупая, медлительная, словно не решающаяся течь из высохшего тела. Он машинально поднёс палец ко рту, пососал ранку. Кровь была тёплой. И солёной. Как слеза. Та самая, которую он так и не смог выплакать.

В обеденный перерыв – его, по сути, не было, просто объявляли остановку работ на полчаса, чтобы люди могли присесть, – бригадир, старик Моисей Исаакович, с трудом поднявшись со своей табуретки, хрипло сказал:

– Глебов. В красный уголок. К тебе.

В красном уголке, пахнущем махоркой, мокрым сукном и застарелой тоской, его ждал Семенов, секретарь цехового парткома. Человек с невероятно опухшим от голодного отека лицом, но в удивительно чистой, выглаженной гимнастёрке. Контраст был поразительным и жутким – болезненная опухоль плоти и почти маниакальный порядок в одежде, будто это была последняя крепость, последняя грань, отделявшая его от хаоса и распада.

– Глебов, – кивнул Семенов, не глядя в глаза. – Соболезную. По матери.

Лёня молча кивнул. Откуда он знал? От санитара у повозки? От дворника, который выметал трупы из подъездов? Или просто по-пустому, остекленевшему взгляду, который теперь был у Лёни? В осаждённом городе вести о смерти распространялись быстрее, чем слухи о хлебной поставке. Смерть была тут валютой, новостью, привычным делом.

– Ты теперь один. Квартира пустая. «Тяжело», – не спрашивая, констатировал Семенов. Он достал из потрёпанной папки листок, старательно разгладил его на столе. – Социальное положение требует поддержки. Можем выдать талон на усиленное питание. В столовой начальствующего состава. Десять дней.

Лёня посмотрел на талон. Бумага, печать, подпись. Десять дней. Десять порций супа погуще, может, даже с крупой. Десять кусков хлеба, возможно, не 125, а 200 граммов. Это был не просто подарок. Это был шанс. Шанс выкарабкаться, набраться хоть тени сил, отогнать смерть ещё на несколько шагов.

– Спасибо, – пробормотал он, и слово застряло в пересохшем горле.

– Работать надо, – отрезал Семенов, и в его голосе прозвучала не просьба, а железный приказ. – Твоя бронь – это твоё оружие сейчас. Твой станок – фронт. Каждая твоя деталь – это тепло для десятка людей, это возможность другим работать. Понятно?

– Понятно, – сказал Лёня.

Но в голове сквозь формальные слова снова зазвучал тот самый звон. Пустой и настойчивый. Десять дней. Десять дней относительного сытых. А потом? Снова сто двадцать пять граммов? Снова ледяная комната с призраком матери на кровати? Снова бессмысленное, изматывающее точение шпилек для трубы, которая всё равно лопнет через неделю от холода и давления? Нет. Нет, хватит. Пора заканчивать с этой медленной, тихой смертью. Пора начинать бить этих гадов. Не здесь, напильником по сырой стали, а там, где это имеет смысл.

Решение пришло не как озарение, не как вспышка ненависти или отваги. Оно приползло, как улитка. Медленно, неотвратимо, заползая в каждую мысль, в каждый вздох. Оно созревало с той минуты, как он вышел из Сампсониевского собора, оставив за спиной свёрток с телом матери.

Он видел, как днём в цех зашёл военный. Не ополченец в стёганке и с винтовкой образца 1891 года, а кадровый, в хорошей, непоношенной шинели, с малиновыми петлицами артиллериста или штабника. Человек с другим, неблокадным, лицом – жёстким, сколоченным, с глазами, привыкшими видеть смерть не от голода, а от пули. Военный говорил с начальником цеха, показывал какие-то бумаги. Потом они медленно обошли несколько станков, и военный пристально, оценивающе смотрел не на руки рабочих, не на детали, а прямо в глаза. Искал что-то. Кого-то.

– Кого? – спросил Лёня у старика Моисея Исааковича, когда тот вернулся к своему верстаку.

Старик молча вытер пот со лба тряпицей, взглянул в сторону ушедшего офицера и хмуро буркнул:

– Живую силу. С фронта просьба. В стрелки пополнения просят. Опытных не трогают, они с броней, их руками держится хоть что-то. А кто помоложе, кто без иждивенцев… тех спрашивают. Добровольцев.

– На фронт? – уточнил Лёня, и сердце его странно ёкнуло – не страхом, а чем-то похожим на надежду.

– Ага. – Старик злобно сплюнул в кучу металлической стружки у своих ног. – На Невский пятачок, что ли. Или на Синявино. Добровольно на тот пятачок только дурак пойдёт. Или совсем отчаянный, которому уже тут нечего терять.

Лёня посмотрел на свои руки, на тупой напильник, на мёртвый, заиндевевший станок, который когда-то был гордостью отца. Он подумал о десяти талонах на усиленное питание. И о двух оставшихся простынях в комоде. И о бесконечных, одинаковых днях, которые ждали его здесь, в этом ледяном склепе завода.

Он был не дурак. Он был совсем отчаянный.

Заявление он писал тем же вечером в красном уголке на обороте старой сводки Совинформбюро. Чернила были жидкие, синие, они расползались по рыхлой, впитывающей бумаге, как кровь.

«Прошу снять с меня бронь и направить в действующую армию. Глебов Л.А.».

Он не писал про месть за отца, пропавшего без вести. Не писал про долг перед Родиной. Не писал про ненависть к тем, кто замкнул кольцо вокруг его города. Он просил одного: направить. Куда угодно. Лишь бы вырваться из этой замороженной ловушки, где смерть приходила медленно, тихо, почти вежливо, отбирая тепло, силы, воспоминания, кусочек за кусочком. На фронте смерть была бы другой – быстрой, громкой, честной. И возможно, имеющей смысл.

На следующий день его вызвали к начальнику цеха. В кабинете, где на столе стояла та же «буржуйка», но топили её щедрее – видимо, экономили на чём-то другом, – было трое: начальник цеха Павлов, осунувшийся, с сединой на висках; парторг Семенов и тот самый военный с малиновыми петлицами. Он представился коротко: «Капитан Орлов».

На столе лежала стопка таких же, как у Лёни, заявлений. Штук десять, не больше. Капитан Орлов молча перебирал их кончиками пальцев.

– Глебов, – начал Павлов, устало потирая переносицу. Тени под его глазами были цвета синей глины. – Объясни мотивы. Завод теряет рабочего. Фронт, получается, теряет танковую деталь, тепло для блиндажа, запчасть для мотора. Почему? Зачем тебе это?

Лёня стоял по стойке «смирно», как видел когда-то у красноармейцев на улицах, ещё до войны.

– Один остался, – сказал он чётко, глядя в стену поверх головы Павлова. – Иждивенцев нет. Работа здесь… – Он запнулся, подбирая необидные, но правдивые слова, – Не по силам. Душа не лежит.

В комнате повисла тишина, нарушаемая только потрескиванием дров в печурке.

– На фронте легче? – усмехнулся капитан Орлов. Его взгляд был острым, профессиональным, сканером. Он смотрел не на лицо Лёни, а на осанку, на ширину плеч, на то, как стоят ноги, оценивая не душевное состояние, а физический ресурс.

– Не знаю, – честно ответил Лёня. – Не пробовал.

– Попробуешь – не обрадуешься, – мрачно, но без злобы сказал Павлов. – Здесь хоть крыша над головой, хоть пайка, хоть бронь от военкомата. Бронь – это спасение, парень. Пойми.

– Я понял, – сказал Лёня. Но не уточнил, что именно он понял. Он понял, что спасение кончилось. Оно кончилось вместе с матерью, вместе с последним тёплым воспоминанием о доме. Теперь спасение было только в движении. Вперёд. Навстречу.

Капитан Орлов взял его заявление, положил поверх других, аккуратно подровнял стопку.

– Мы рассмотрим. Всех. Ответ будет общий. Ждите.

Их построили в красном уголке ровно через три дня. Все десять человек, подавших заявления. Они были разными: двое постарше, с землистыми лицами и пустыми глазами; трое молодых, почти мальчишек, с лихорадочным блеском и дрожью в руках; остальные – такие,

как Лёня, ни старые, ни молодые, с лицами, на которых уже ничего не было написано, кроме усталости.

Вышел капитан Орлов всё в той же шинели, с листом бумаги в руках. Он не стал вставать на возвышение, просто остановился перед шеренгой.

– Слушайте приказ. – Его голос был негромким, низким, но он резал тяжёлую тишину уголка, как нож масло. – Оглашается решение комиссии по рассмотрению заявлений о добровольном направлении в действующую армию. Удовлетворить прошения следующих товарищей…

Он начал зачитывать фамилии. Лёня не дышал. Казалось, даже сердце замерло где-то в ледяной пустоте за грудиной.

Первая фамилия – не его. Молодой паренёк, стоявший рядом, вздрогнул и закрыл глаза.

Вторая – не его. Пожилой рабочий глухо выдохнул, и его плечи обвисли.

Третья… Чёткий голос капитана произнёс:

– Глебов Леонид Алексеевич.

В ушах у Лени зашумело, будто в них ворвался ветер с Невы. Он поймал взгляд парторга Семенова, стоявшего в стороне. Тот смотрел на него с каким-то странным, нечитаемым выражением – не с гневом за потерю работника, а скорее с усталой, бесконечной грустью. Как смотрят на обречённого, который сам выбрал свой путь.

– Остальным, – отчеканил капитан, складывая лист, – оставаться на рабочих местах. Ваш труд здесь – такое же оружие. Не подведите.

Трое отобранных стояли, не шелохнувшись, будто вросли в пол. Семеро отвергнутых молча, не глядя друг на друга, начали расходиться. Один из них, самый молодой, с тем самым лихорадочным блеском в глазах, вдруг всхлипнул – не от обиды или разочарования, а от странного, безысходного облегчения и жгучего стыда одновременно.

Капитан Орлов подошёл к троим.

– Завтра, в шесть утра, здесь же. С вещами. Вам выдадут обмундирование и оружие на сборном пункте. Вопросы есть?

Молчание. Какие могли быть вопросы? Всё было ясно.

– Тогда свободны. Последний вечер на гражданке. Используйте с умом.

Лёня вышел из красного уголка. Он не чувствовал ни гордости, ни предвкушения подвига, ни даже страха. Был только холодный, ясный, как лезвие, расчёт. Он мысленно перебрал вещи в опустевшей квартире. Тёплое драповое пальто отца – надеть. Мамины валенки – они немного малы, но на портянки сойдут. Простыни… Да, те две простыни. Их нужно обменять. Сегодня же, пока не стемнело окончательно. На сало, на сухари, на концентрат. На дорожный паёк. На жизнь на первые дни, пока не выдадут нормальный паёк. Если выдадут.

Он шёл по полутемному цеху к своему станку, чтобы забрать личные тряпки-обмотки. Мимо него, не поднимая головы от тисков, проходил старик Моисей Исаакович.

– Ну что, доброволец? – хрипло, без интонации, спросил старик, не глядя на него.

– Отобрали, – так же коротко ответил Лёня.

Старик замер на секунду, потом медленно, с хрустом в суставах, потянулся к своей табуретке, достал из-под неё небольшой, засиженный мукой и ржавчиной свёрток, завёрнутый в тряпицу.

– На… – пробурчал он, суя свёрток Лёне в руки. Голос его дрогнул. – Мать твоя… хорошая женщина была. Читала мне газеты вслух, когда зрение совсем село. В прошлую зиму.

Лёня взял свёрток. Он был тяжёлым, твёрдым. Развернул край тряпки. Внутри лежал кусок дуранды – спрессованного жмыха, тёмного, как земля, и твёрдого, как камень. В блокаду это было ценнее хлеба. Калории. Выживание.

Лёня кивнул. Сказать «спасибо» не мог. В горле встал ком, горячий и колючий.

– Там, на той стороне… – Старик вдруг обернулся, и в его мутных глазах мелькнуло что-то живое – тревога, усталая мудрость, что-то вроде отцовской заботы. – Не геройствуй, слышишь? Пулю дураку подают. Ты… ты живым вернись. Понял? Хоть калекой, но живым.

– Постараюсь, – выдохнул Лёня, и это было самое честное, что он мог сказать.

Он положил дуранду во внутренний карман телогрейки, туда, где уже лежал мамин продовольственный аттестат с невырванными талонами – теперь просто память. Теперь у него был капитал. Две простыни, кусок жмыха, пустота внутри и странное, щемящее обещание, данное старому человеку. И эта пустота внутри требовала заполнения. Хоть ненавистью. Хоть страхом. Хоть яростью. Лишь бы не этим ледяным, пронизывающим звоном одиночества.

Завтра начиналась другая арифметика. Военная. Где счёт вёлся не в граммах хлеба и градусах тепла, а в патронах, вёрстах, метрах отнятой у врага земли и, возможно, в днях отпущенной тебе жизни. Он был готов к этому счёту. Он хотел его. Потому что только в нём он теперь видел смысл.

Глава третья
Топливо

Он вернулся в квартиру, когда сумерки уже впитывали в себя последний свет, превращая Васильевский остров в чёрно-серое марево теней. Возвращение было не возвращением домой, а входом в склеп, где он был теперь единственным жильцом и хранителем призраков.

Он был сыт. Не по-настоящему, конечно. Лёгкое головокружение от долгого голода не прошло, кости всё ещё ныли изнутри, но пайка, съеденная за день на заводе, и тот самый талон на усиленное питание, который он взял у Семенова не из надежды, а из холодного расчёта – каждая калория теперь была оружием, – сделали своё дело. Он отоварил его тут же, в столовой начальствующего состава, за низким столом под портретом Сталина. Там дали густой, как холодный кисель, суп из гороховой муки с плавающими жёлтыми крупинками жира и крохотный, но плотный кусок хлеба с отрубями. Еда создала внутри иллюзию тяжести, ложную, но драгоценную. Тело, забывшее это ощущение, отозвалось на неё странной вялостью и теплом, растекавшимся от желудка. Это был обман, но обман, за который он был благодарен. Последняя сытость на пороге войны.

Дверь, которую он не запер утром, отворилась с тихим скрипом. Холод встретил его знакомым ледяным дыханием, но теперь он не был беззащитен перед ним. Он зажёг огарок свечи, стащенный со стола в красном уголке – последнюю маленькую кражу у завода. Пламя дрогнуло, вытянулось тонким языком, затем затанцевало на стенах, и тени ожили. Но это были не те тени, что были сейчас – угловатые, резкие, отбрасываемые голым комодом, пустой кроватью с продавленным ложем, пирамидой из стульев у печки. Нет. При этом трепетном, живом свете ожили другие тени. Тени из прошлого, которое жило в этой же самой комнате, но в ином, недоступном теперь, измерении.

Он сел на табурет у холодной, немой «буржуйки», с усилием стянул промокшие, тяжёлые сапоги. Ноги ныли, пальцы сводило судорогой. Он сидел, сгорбившись, и смотрел в угол. Там, где когда-то от пола до потолка стоял папин книжный шкаф, тёмный, дубовый, пахнущий клеем, кожей и табаком. Шкаф сгорел прошлой зимой, по полке за полкой, давая жар на два-три часа. Лёня увидел не пустоту, заляпанную копотью. Он увидел лето 1940-го. Вечер. Солнце уже село за крыши, но небо над Невой ещё светится перламутровым заревом. Окна настежь, в комнату вливается тёплый, густой воздух, пахнущий акацией с соседнего сквера и речной сыростью. Мама, Анна Петровна, в светлом ситцевом платье, ставит на стол самовар – тот самый, медный, блестящий, с отбитым краном, который всегда подтекал. Он гудит тихо, уютно, выпуская струйку пара. Папа, Алексей Николаевич, только что вернулся с завода. Он ещё в белой инженерской рубашке, рукава засучены по локоть, открывая сильные, покрытые светлыми волосами предплечья. От него пахнет металлом, махоркой и потом – честным, трудовым запахом. Он смеётся, что-то рассказывает за ужином про какого-то незадачливого практиканта, который чуть не устроил пожар в цеху. Мама качает головой, но в уголках её глаз лучится смех. А Лёня… ему семнадцать. Он только что собрал свой первый детекторный приёмник, и сейчас из большой фаянсовой тарелки на столе, служившей резонатором, еле слышно, сквозь шипение и треск, льётся вальс. «Одессит Мишка» – папина любимая пластинка, которую он привёз из командировки. Мама ворчит, улыбаясь: «Опять эту мещанщину, Алексей». А сама незаметно притоптывает в такт каблучком по полу. Папа подмигивает Лёне, берёт маму за талию, кружит её на пару шагов по комнате. Она отбивается, смеётся, и её смех звенит, как хрусталь.

Папа. Алексей Николаевич Глебов. Инженер-металлург с Путиловского. Руки, которые могли и чертёж вывести с ювелирной точностью, и тиски закрутить так, что болванка скрипела.

Он учил Лёню не громким словам о героизме, а тихому, упорному делу. «Главное, сынок, чтобы работало. Без фокусов, без показухи. Надёжно. Чтобы потом не стыдно было». Его слова были такими же прочными и простыми, как сталь, с которой он работал.

Потом – чёрная дыра июня сорок первого. Репродуктор «Рекорд» на стене, из его чёрной тарелки – голос Левитана. Сухой, чёткий, бездонно страшный, как треск ломающихся костей целой страны. Папа стоит у окна, курит одну папиросу «Казбек» за другой, молчит. Дым кольцами уплывает в открытую форточку. На следующий вечер он пришёл с работы, но уже не в рубашке, а в гимнастёрке. Новенькой, пахнущей сукном. «Иду в ополчение. Наш завод формирует батальон». Мама не плакала. Она молча достала из комода иголку, нитки, кусочек ослепительно-белой ткани и пришивала ему подворотничок. Её пальцы не дрожали. «Ты его меняй, слышишь, Лёша? Чтоб всегда чистый был. Как лицо твоё». Последнее, что Лёня помнил ясно: перрон, давка, запах махорки, пота и страха. Папа в толпе таких же, как он, «ополченцев» – в гражданских пальто, но с новенькими, пахнущими маслом винтовками. Он обнял их обоих, маму и Лёню, крепко, до хруста в рёбрах, будто пытался впитать в себя, запомнить на ощупь. И сказал Лёне, глядя прямо в глаза, так близко, что тот видел каждую морщинку у его висков: «Держи дом. И маму. Ты теперь за главного». Поезд дёрнулся, заскрипел, загудел. Папа запрыгнул на подножку уже движущегося вагона, обернулся, махнул рукой. Потом скрылся в облаке пара и дыма. Больше вестей не было. Через два месяца пришла похоронка. Вернее, не похоронка – *«Пропал без вести под Лугой»*. Эти три слова были страшнее откровенного «убит». Без вести. Без могилы. Без тела. В никуда. В пустоту, которая теперь начиналась за порогом дома и не кончалась нигде.

А потом город, его Ленинград, начал сжиматься. Как в гигантских стальных тисках. Сначала – воющие сирены, грохот зениток, пожары, чёрное небо, прошитое лучами прожекторов. Потом – тот страшный, сладковато-приторный запах горелого сахара, накрывший весь город после бомбёжки Бадаевских складов. Запах сожжённого будущего. Потом – голод. Медленный, неумолимый, изощрённый. Сначала мама ещё ходила на завод. Не инженером уже, а в охрану, на проходную. Приносила свою рабочую пайку – 250 граммов. Делили на троих с бабушкой. Потом бабушка умерла тихо, во сне, и делить стали на двоих. Потом мама перестала вставать с кровати. А он, получив свою бронь и свои 125 граммов, входил в эту комнату и видел, как она с каждым днём становится всё прозрачнее, легче, невесомее. Как буквально исчезает, уходит в небытие, оставляя после себя только восковую маску на подушке и тихий шёпот: «Ложись. Экономь силы».

И сегодня он вошёл, а её не было вовсе. Не было даже призрака. Была только пустота, зияющая, как прорубь во льду. Она гудела в тишине своим ледяным, высоким звоном.

Но теперь, при свете свечи, дрожащем на стенах, эта пустота наполнялась не холодом, а медленным, тлеющим жаром. Он смотрел на свои руки, освещённые жёлтым пламенем. Те же самые руки, что собирали детекторный приёмник, что держали отцовские инструменты. Тело, которое когда-то было сильным, сытым, лёгким, готовым бежать, прыгать, жить. Комната, которая была полна смеха, музыки, запаха акации, махорки и жареной картошки.

Они отняли ВСЁ.

«Они» – это не абстрактные «немцы» из газетных сводок. Это конкретные люди в серых мундирах, которые бомбили Бадаевские склады, превращая тонны еды в чёрную пахучую жижу. Которые замкнули кольцо вокруг города, как удав вокруг горла. Которые стреляли из пулемётов и пушек по папиному эшелону где-то под Лугой, в лесу, в поле. Которые методично, день за днём, превращали живую, тёплую, пульсирующую жизнью реальность в этот ледяной склеп с ободранными стенами и мебелью, годной лишь на растопку.

Ненависть пришла не яростным шквалом, не с криком и скрежетом зубовным. Она пришла тихо, как и всё в этом доме. Она осела на дно его души тяжёлым, густым, расплавленным металлом, там, где раньше была лишь пустота и звон. Она заполнила собой всё простран-

ство внутри, вытеснив последние сомнения, последний страх. Она стала топливом. Единственным и самым мощным, на котором он мог двигаться дальше.

Он подумал о Берлине. Не о взятии Рейхстага, не о знамени на куполе, как в победных реляциях. Он подумал о городе. О чужом, далёком, враждебном городе из школьных учебников географии. Городе, откуда пришли все эти приказы, все эти бомбы, всё это горе.

«Я дойду, – прошептал он в тонущую темноту за кругом свечного света. Голос его был тихим, но в нём не было ни дрожи, ни вопроса. – Я дойду до самого сердца. И когда зайду… я не оставлю там камня на камне. Ни одного целого окна. Ни одной целой стены. Ни одного живого места».

Это была не солдатская клятва верности присяге. Это была клятва сына. Клятва мстителя. Примитивная, чудовищная и кристально чистая в своей чудовищности, как закон физики, выжженный у него в мозгу: сила действия равна силе противодействия. Им – тотальное уничтожение его мира. Ему – тотальное уничтожение их мира в ответ.

Он встал, кости затрещали. Подошёл к столу, отодвинул ящик. Там, под клубком грубой солдатской нитки, лежало его сегодняшнее нетронутое – те самые 125 граммов чёрного влажного хлеба. Он взял краюху. Она была твёрдой, как камень, холодной, как лёд. Он не чувствовал голода. Только ту самую жгучую, расплавленную тяжесть в груди, которая теперь была его сутью.

Он сел и начал есть. Не так, как ел при матери – отламывая крошечные кусочки, смакуя каждую крошку, растягивая акт на минуты, чтобы обмануть желудок. Нет. Он отламывал большие куски и жевал их мёртвыми, нечувствительными губами. Не чувствуя вкуса. Не чувствуя ничего, кроме механического движения челюстей. Он ел просто потому, что надо было есть. Чтобы завтра встать. Чтобы идти. Чтобы дойти. Чтобы отомстить.

Проглотив последний, сухой, царапающий горло кусок, он задул свечу резким движением. Темнота нахлынула мгновенно, абсолютная, слепая. Он, не раздеваясь, залез под груду тряпья на кровати – одеяла, пальто, всё, что могло дать хоть иллюзию тепла. Холод схватил его сразу, острыми клыками, но тело, подкреплённое едой, сопротивлялось упрямо, по-звериному. Он лежал на спине и смотрел в непроглядную черноту потолка, туда, где когда-то ползла трещина, за которой следила мать.

Он не думал о завтрашнем страхе, о свисте пуль, о грохоте разрывов. Он думал о папиных сильных, шершавых руках, лежавших на его плече. О маминой улыбке, когда она кружилась в вальсе. О запахе самовара и акации. Он собирал эти осколки, эти вспышки былого счастья, как драгоценные алмазы, и укладывал их аккуратно, слой за слоем, поверх раскалённого, расплавленного металла своей ненависти. Чтобы не остыл. Чтобы горел. Чтобы это пламя несло его вперёд.

Сон пришёл тяжёлый, без сновидений, как обморок. Он не отдыхал – он выключался.

Утром он встал затемно, ещё до сирен. Одевался методично, без суеты, как когда-то готовился с отцом в длительную экспедицию на озеро: чистое, хоть и поношенное, тёплое бельё; две пары грубых шерстяных носков; фланелевая рубаха, пахнущая нафталином и прошлым. В карман – мамин шерстяной шарф, синий, с вытянутыми петлями. В нагрудный карман гимнастёрки, которую он надел поверх всего, – её продовольственный аттестат (теперь просто бумажка-памятка) и фотография. Та самая: они втроем на набережной Невы, лето 1940-го. Солнце, ветер, счастье. Все трое смотрят в объектив и смеются. Он не видел этого смеха два года.

Он ещё раз, последний, окинул взглядом комнату. Не для того, чтобы запомнить – он и так помнил каждую трещину. Для того, чтобы взять с собой. Взять этот холод, эту пустоту, эти стены и превратить в ту самую сокрушительную силу, что поведёт его вперёд, через огонь и сталь.

В дверях он не обернулся. Ключ от квартиры сдернул с кольца и бросил на пол, в прихожей, в пыль. Пусть новый жилец найдёт. Если будет новый жилец.

На улице падал мокрый, апрельский снег, тот самый, что не белый, а серый, от земли и копоти. Он шёл по своему Васильевскому, по знакомым до последней трещины в асфальте дворам, переулкам, и город прощался с ним по-своему, без слов: хлопьями тающего снега на лице, холодными, как слезы; скрипом одинокой вывески над булочной с выбитыми стёклами; абсолютной, давящей тишиной, нарушаемой только далёким грохотом на линии фронта. Его Ленинград, город детства и смерти, оставался здесь, в этой тишине, в этом ледяном камне. А он уходил к другому Ленинграду – к тому, что был на Пулковских высотах, в окопах, в дыму и грохоте. Чтобы оттуда, из самой глотки ада, начать долгий, неумолимый путь назад. На Запад.

В здании райвоенкомата на Васильевском уже ждали. Капитан Орлов, не спавший, кажется, всю ночь, с красными прожилками в глазах и щетиной на щеках, сверял списки, сверял с чем-то внутри себя. Новобранцев было человек двадцать – не только с Путиловского, видимо, собрали со всего района.

Лёня подошёл, встал по стойке.

– Глебов, явился, – отчеканил он, и голос прозвучал чужим, металлическим.

Орлов поднял на него взгляд, кивнул, почти незаметно, поставил галочку в списке.

– С вещами? На тебе всё?

– Так точно.

– Жди построения. Не отходи далеко.

Они стояли в длинном тёмном коридоре, пахнущем махоркой, сыростью от промерзлых стен и страхом. Лёня узнал в толпе Фёдора, старшего токаря из их цеха, и пацана Витьку, ученика слесаря. Их взгляды встретились на секунду. Слова были не нужны. Их уже связывало нечто гораздо большее, чем общий цех или общий станок. Их связывала общая, выжженная пустота за спиной – пустые квартиры, пустые кровати, пустые пайки. И общее, только что разожжённое топливо внутри – ненависть, холодная и ясная.

Через час погрузились в кузова грузовиков, застланные жёстким, промёрзшим брезентом. Машины, с ревущими, надрывистыми моторами, понеслись по ещё тёмным, безлюдным улицам к Финляндскому вокзалу, а оттуда – на восток, к Ладоге.

Дорога Жизни. Лёня приник к узкой щели в брезенте, впуская ледяной ветер. Сначала мелькали разрушенные пригороды, пустые глазницы домов, обгорелые скелеты трамваев. Затем – бескрайняя, ледяная, безжизненная гладь Ладожского озера. По ней змеилась укатанная колёсами и санями трасса, тёмная полоска на белом. Машины шли с зажжёнными фарами, под прикрытием зенитных расчётов на берегу. Вокруг царил не покой, а оглушительный гул моторов, скрежет полозьев бесчисленных саней, отрывистые, хриплые крики регулировщиц в белых полушубках, машущих флажками в свете фар. Это была не дорога. Это была артерия, вскрытая скальпелем отчаяния. И по ней текли не просто люди, мука и снаряды. По ней текли гнев, закалённый голодом; тупая, слепая надежда; быстрая, лёгкая смерть от шальной пули или провала под лёд; и пополнение – такое, как он, чтобы заменить тех, кто уже истёк.

На том берегу, на «Большой земле», уже ждали. Здесь пахло по-другому. Не городской гарью и смертью, а хвоей, дымом тысяч костров и войной – едкой, сложной смесью пороха, горелой резины, солярки и чего-то сладковато-трупного, что ветер приносил с передовой.

У разбитого вокзальчика, больше похожего на сарай, стоял эшелон. Теплушки. Деревянные, с маленькими зарешёченными окошками, пахнущие овечьей шерстью, махоркой и человеческой тоской.

Офицер, встречавший их, с обмороженными щеками, выкрикивал названия и номера, не глядя в лица.

– Пополнение для стрелковой! К вагонам!

Лёня глубоко втянул в себя холодный, колючий, свободный воздух. Взял поудобнее свой тощий вещевой мешок, сделал шаг вперёд и втянулся в зияющее чёрное отверстие теплушки. Темнота и запах встретили его, как старые знакомые.

Его война только что получила название. Стрелковая дивизия.

Глава четвертая
На Любань

Теплушка гудела, выстукивая на стыках рельсов одну-единственную навязчивую мысль: *на запад, на запад, на запад.* Этот ритм проникал в кости, в мозг, становясь биением нового сердца, пульсом нового бытия. Лёня стоял у разбитого иллюминатора, затянутого грязным брезентом, и сквозь узкую щель наблюдал, как мелькает пейзаж. Сначала – ещё знакомые, израненные, но свои ленинградские леса с ободранной взрывами корой. Потом они начали редеть, сменяясь бескрайними, унылыми просторами, залитыми талой водой. Болота. Чёрные, обгорелые, как щетина на голове гиганта, островки леса. Воронки, заполненные мутной водой, блестели, как слепые глаза. Это был уже другой мир. Не Ленинградский фронт с его плотной, удушающей осадой. Это было нечто сырое, открытое и не менее смертоносное.

В вагоне стоял густой запах махорки, пота, мокрых портянок и страха, который ещё не успел переродиться в привычку. Люди сидели на нарах, молчали или дремали, укачиваемые мерным стуком колёс. Фёдор, старший токарь, сидевший рядом с Лёней, хрипло кашлянул, словно угадав его мысли. Он достал из-за пазухи, от самого сердца, смятый, засаленный листок фронтовой газеты, разгладил его на колене.

– На Волхов тянет, – проскрипел он, тыча грязным пальцем в неразборчивый абзац. – Читал сводку вчера. Там, на Любани, наши в окружение попали. Вторую неделю выбиваются. Котёл.

Слово «котёл» не прозвучало. Но слово «окружение», которое он произнёс чуть громче, повисло в спёртом воздухе вагона. Оно было густым, тяжёлым, как гарь после пожара. Несколько голов повернулись. Витька, юный ученик слесаря, сидевший напротив, побледнел так, что веснушки на его носу стали похожи на рассыпанную крупу.

– Нас… туда? – выдохнул он, и в его голосе не было ничего, кроме чистого, детского ужаса.

– Да, для прорыва блокады объединили два фронта: Ленинградский и Волховский… Прорвемся.

Лёня оторвал взгляд от окна, посмотрел на Витьку, потом на Фёдора. Его собственный страх был давно переплавлен во что-то иное. Теперь внутри была только холодная уверенность.

– Значит, очень нужны, – твёрдо сказал он, больше для себя, чем для других. Он вспомнил мимолётно услышанные слова на сборном пункте: Дивизия, которая прорвет блокаду, а затем двинется на Берлин. Если её сейчас зажали в кольцо под Любанью – значит, она держит удар, как гвоздь в доске. И им, этому пополнению, выпала не «честь» в парадном, газетном смысле, а честь-долг. Та же самая, что была в блокаде: если тебя послали через Ладогу за мукой – ты шёл, потому что за тобой стоял город, опухший от голода, но не сдавшийся. Здесь было то же самое. Только вместо муки – патроны. Вместо него – его жизнь.

Он снова нащупал в нагрудном кармане гимнастёрки уголок фотографии. Теперь между ним и далёким, почти мифическим Берлином лежала не абстрактная война, а конкретный, названный по имени ад. Любань. И через этот ад ему предстояло пройти. Первому.

Их выгрузили не на прифронтовой станции с платформами и штабными теплушками, а в чистом поле, на размокшем от талого снега пустыре, у самого края огромного, мрачного, молчаливого леса. Воздух здесь был другим. Он не пах порохом – тот запах был резким, празднично-смертельным. Здесь воздух был болотным. Тяжёлым, сладковато-гнилостным, пропитанным насквозь запахом распутицы, тления, дыма тысяч костров и – главное – далёкой, непрекращающейся, монотонной канонады. Это был не грохот, а именно гул – низкий, раскатистый,

будто сама земля стонала под тяжестью битвы. Он не умолкал ни на секунду, перекатываясь по низкому, сырому, свинцовому небу, становясь частью пейзажа, частью атмосферы.

Их, ошеломлённых, выстроили в неровную шеренгу. Встречал их не майор из штаба, а подполковник. Он вышел из-под навеса из плащ-палаток, и Лёня сразу увидел – это не тыловик. Шинель на нём была в грязи и бурых подтёках, лицо ввалившееся, обветренное, но глаза… глаза горели холодным, не знающим сомнений огнём. Огнём человека, который давно перестал бояться и теперь только делал своё дело.

– Бойцы! – Его голос был хриплым, сорванным, будто выдавленным сквозь ржавую трубу, но он резал сплошной гул канонады, как тупой нож – кожу. – Вы прибыли в полк, который не отступил. Который вгрызся в глотку врагу и держит его за горло в его же тылу! Наша дивизия прорвалась к Любани, оттянув на себя силы, которые могли бы душить Ленинград. Теперь мы в кольце.

Он сделал паузу, дав этим словам висеть в сыром воздухе. Никто не пошевелился.

– Но кольцо – не могила, если внутри – наши! – Он прошелся взглядом по рядам, и этот взгляд был не агитацией, не попыткой поднять дух. Это была суровая, беспощадная правда командира, ведущего людей на самое трудное, что может быть на войне – внутрь котла. – Ваша задача – войти в это кольцо. Усилить наших. Пробить и держать коридор для снабжения и выхода раненых. За вами – город на Неве. За вами – весь наш народ, который ждёт не слов, а дела. Присягу вы дали. Теперь пришло время её подтвердить. Не словом – кровью. Кровью своей и вражеской. Понятно?

Тишина. Только гул орудий и тяжёлое дыхание. Никто не дрогнул. Их не пугали этим – их назначали. Назначали на подвиг, о котором, возможно, не напишут в газетах. Но без которого не будет ни одной победной сводки в будущем. Лёня чувствовал, как его личная тлеющая ненависть к тем, кто сжимал его город, сплавляется с этой общей, чудовищной необходимостью. Они шли не просто в бой. Они шли на выручку. Выручать таких же, как они, уже попавших в беду. Это придавало страху смысл.

Дальше всё было лихорадочно и быстро. Обмундирование и оружие выдавали прямо у грузовиков, на ходу. Старшина, у которого перевязь была перечёркнута грязной полосой от ремня пулемёта, сунул Лёне в руки винтовку, даже не взглянув в лицо.

– С Любанского котла. Хозяин погиб. Береги. Она ещё послужит.

Лёня взял винтовку. Старую, трёхлинейку Мосина. Дерево приклада было тёмным от пота и грязи, металл ствола – матовым. Но на прикладе, у антабки, кто-то ножом или осколком выцарапал неровную, но яростную пятиконечную звезду. Чужая судьба. Чужая война. Чья-то последняя метка. Теперь это ложилось в его руки. Он принимал эту эстафету. Он становился новым «хозяином». И отвечал теперь не только за свою жизнь, но и за память о том, кто выцарапал эту звезду.

Снаряжения не хватало. Сапёрных лопат – единицы, котелков – ещё меньше. Но каждому выдали двойную норму патронов в тяжёлых, бренчащих подсумках и по две лимонки. «На прорыв», – мрачно пояснил кто-то из старых сержантов, и в этом не было никакой бравады, только констатация факта.

Их погнали вперёд ещё до наступления темноты. Не по дорогам, которых здесь попросту не было, а напрямик, через раскисшие от талого снега болота, бурелом, чащобу. Шли ночью, в кромешной, беззвёздной тьме, держась за шинель впередиидущего, чтобы не потеряться. Ноги вязли по колено, а иногда и по пояс в ледяной, жидкой грязи, которая с жадным чмоканьем засасывала сапоги. Слышались всхлипы, сдавленные проклятия, но колонна не останавливалась. Останавливаться было нельзя. Впереди, за чёрной стеной леса, небо не полыхало, а тлело багровым заревом – там, в котле, шла своя, страшная, работа.

Лейтенант Калинин, их молодой, но уже с поседевшими висками командир, шёл в самом начале колонны. Он не орал, не подбадривал. Он просто вёл. И в этой его тихой уверенности было больше доверия, чем в любой патетической речи.

Перед самым рассветом они вышли на край гигантской, изрытой воронками поляны – нейтральной полосы. Отсюда начинался коридор. Узкая, не шире пятидесяти метров, полоса земли, простреливаемая со всех сторон немецкими пулемётами и миномётами. Дорога жизни и смерти, ведущая в сердце котла. Ветер нёс с неё запах гари, свежей земли и чего-то медного, знакомого по блокаде.

– Сейчас пойдём, – тихо, беззвучным шёпотом сказал Калинин, собрав вокруг себя командиров отделений. Его лицо в предрассветных сумерках было бледным и острым. – Быстро. Тихо. Не отставать. Раненых не бросать. Кто упал – тащить. Наша задача – донести каждую винтовку, каждый патрон до своих. Там их ждут пуще хлеба. Понятно?

Лёня, ставший по воле случая старшим в своей маленькой группе из заводских, кивнул. Он перевёл дух, посмотрел на ту полосу. Она была озарена не вспышками, а ровным, зловещим заревом горящего где-то вдалеке леса. Это был не просто участок фронта. Это была дверь. Дверь в ад. И ему выпала «честь» эту дверь открыть.

– Вперёд! – Команда прозвучала, как выдох, передаваясь по цепочке.

Они рванули в эту дверь. Бежали, спотыкаясь о трупы, не разбирая, свои или чужие, падали в воронки с ледяной водой, поднимались, хрипя, бежали дальше. Воздух вокруг завывал от пуль. Кто-то крикнул и упал, но его тут же подхватили под мышки. Лёня бежал, прижимая к груди винтовку с выцарапанной звездой, чувствуя, как каждый мускул горит от напряжения, а в ушах – тот же звон, что и в пустой комнате, только теперь он был оглушительным.

И вот рывок, прыжок. Они с размаху повалились в глубокую, полную грязи и людей траншею. Это была главная позиция их дивизии. Первым делом Лёня не увидел – почувствовал. Странное, почти необъяснимое чувство: не страх, не радость, а облегчение. Как будто ты, пробираясь по хлипкой, качающейся доске над бездонной пропастью, наконец ступил на твёрдую, пусть и израненную, искорёженную, но свою землю. Землю, которую держат свои.

Их встречали не как новобранцев, ждавших наставлений. Их встречали как братьев. Измождённые, с почерневшими от копоти и бессонницы лицами бойцы хватали их за руки, за плечи, помогали выбраться из грязи, хлопали по спинам.

– Живые! С «большой земли»! – хрипел кто-то, и в этом хрипе была слеза. – Патроны привезли?

– Привезли! – крикнул, задыхаясь, Фёдор, и в его голосе впервые зазвучала не показная, а настоящая, горькая гордость. – И себя привезли!

К Лёне подошёл старый солдат. Невысокий, коренастый, лицо в морщинах и оспинах. Его здесь звали не Гора и не Иванов. Здесь у него было другое имя – Ладога. Потому что он, раненый, дважды ходил через Ладожское озеро и возвращался обратно в строй. Легенда.

Ладога молча осмотрел Лёню с ног до головы, его застывшее лицо, его руки, сжимающие винтовку. Потом сунул ему в ладонь не кружку с чаем, а кусок твёрдого, как булыжник, сухаря.

– На, ленинградец. Ты, говорят, оттуда, – сказал он, и голос его был похож на скрип ржавой двери. – Знаешь, что такое держаться. Знаешь цену хлебу.

В его глазах не было пустого отчаяния блокадных глаз. Там была глубокая, выстраданная, каменная уверенность.

– Мы здесь держимся. Потому что знаем – за нами вы. А раз вы пришли – значит, будем держаться дальше. – Он повернул Лёню за плечо, указал вперёд, в серую мглу рассвета. – Вот твоя ячейка. Видишь вон тот сгоревший танк, что торчит из трясины, как палец? Оттуда фрицы миномётят. Запомни это место. Завтра будем его гасить.

Он говорил не о смерти, не о подвиге. Он говорил о работе. О следующем шаге. О конкретной задаче. И в этом был не пафос, а суровая профессиональная ясность. Это была школа. Не выживания – с этим Лёня уже справился. Школа победы. Кровавой, страшной, но победы.

Ночью Лёня впервые заступил на пост на новом месте. Он стоял в сырой ячейке, щёлкал затвором своей «трёхлинейки», проверяя, не забилась ли грязь. Он смотрел не вперёд, на вражеские позиции, отмеченные редкими вспышками, а назад, на восток. Туда, откуда пришёл. Там, за десятками километров болот, лесов и смерти, был его город. Ленинград. Он принёс сюда его волю. Его упрямство. Его молчаливую ярость. Он был теперь звеном. Звеном между тем осаждённым, умирающим, но не сдавшимся Ленинградом и этим, окружённым, израненным, но не покорённым островком своей армии. Звеном, которое не должно было порваться. Ни при каких обстоятельствах.

Он погладил ладонью приклад винтовки, нащупал шершавые грани выцарапанной звезды. Потом дотронулся до нагрудного кармана, где лежала фотография.

– Держитесь, – прошептал он в сторону невидимого города, в тёмную, холодную ночь. – Мы здесь. И мы держим. А потом… потом пойдём вас освобождать. До самого Берлина. Через всю их землю.

Впереди, в немецких тылах, с глухим, тяжёлым уханьем рвались снаряды – это била наша артиллерия, пытаясь расширить этот хрупкий коридор. Каждый такой разрыв был словом. Словом, которое говорили они, окружённые. Словом гнева, упрямства и несокрушимой воли.

Лёня прислушался к этому голосу. И присоединил к нему свой. Пока лишь мысленно. Но скоро, очень скоро – и делом.

Он был на самом острие. На Любани. В самом пекле. И он понял: это было его место. Единственное место, где он теперь мог быть. Здесь начинался его долгий путь на запад. Отсюда.

Глава пятая
Прорыв, которого не было

Их не бросили в бой сходу, как мясо в мясорубку. Здесь, в котле, каждая штык-единица была на вес золота, и их берегли – не из жалости, а из холодного расчёта. С ними работали.

Неделю, другую – время здесь текло иначе, измеряемое не днями, а сменой постов и количеством выпущенных по тылам противника снарядов – старый Ладога и другие обстрелянные, с лицами, похожими на кору старых дубов, сержанты водили их по переднему краю. Они показывали не на карте, а пальцем, вживую.

– Видишь вон ту кочку, поросшую бурьяном? Не кочка. Дзот. С амбразурой в сторону лощины. Из него два пулемёта бьют перекрёстным. Запомни координаты для наших миномётчиков.

– А вот оттуда, с верхушки той кривой сосны, что торчит из развалин фермы, любит работать снайпер. «Кукушка». По утрам, когда солнце в спину. Не высовывайся. И каску не снимай, даже если жарко.

– Здесь, под видом гнилого пня, у них миномётная позиция. Замаскирована на совесть. Но видишь – земля вокруг чуть просевшая? От отката. И проволочка натянута к дереву – для связи. Ночью наши разведчики сюда ходили, подтвердили.

Лёня учился читать эту новую, страшную грамоту так же внимательно, как когда-то учился читать сложные чертежи отца в его кабинете. Это была та же самая точность, та же необходимость видеть не просто линии, а суть, конструкцию. Только цена ошибки была иной: не переделанная деталь, а жизнь – его или его товарищей. Он впитывал знания молча, с жадностью, превращая их в холодные, чёткие алгоритмы в голове: увидел это – делай то. Услышал это – значит, будет то.

Их дивизия была не просто зажата в кольцо. Она была глубоко вонзившейся в тело врага занозой. Больной, гноящейся, не дающей покоя. И командование фронта решило не просто попытаться вытащить эту занозу, спасая дивизию. Решили использовать её как рычаг, как точку опоры, чтобы развернуть и ударить. Цель была дерзкой до безумия, почти невероятной: пробиться изнутри котла навстречу войскам Ленинградского фронта, которые должны были нанести встречный удар. Расколоть немецкую группировку под Любанью надвое и сомкнуть кольцо уже вокруг неё. Фактически – сделать то, что не удалось прошлой зимой, но сделать это с внутренней стороны, из самого ада.

Перед началом наступления к ним в траншеи пришёл комдив. Не для парадной речи перед строем – здесь строя не было, были только грязные, обветренные лица, выглядывающие из ячеек. Он шёл по ходу сообщения, останавливаясь, глядя каждому в глаза. Его шинель была в такой же грязи, у него были такие же ввалившиеся щёки и горящие лихорадочным огнём глаза.

– Бойцы, – сказал он просто, без повышения голоса, но так, что слова падали, как камни, в наступившую тишину. – Мы держались здесь все эти недели не просто так. Мы ждали. Ждали вас, подкрепления, патронов. Теперь вы пришли. Теперь мы сильнее. – Он обвёл взглядом траншею. – И теперь мы пойдём не в прорыв из котла, чтобы спасти шкуры. Мы пойдём на прорыв к Ленинграду. Каждый ваш выстрел, каждый шаг вперёд – это шаг к нашим домам, к нашим семьям, к нашему городу, который всё ещё душит. Мы вырвемся отсюда не для того, чтобы отбежать и отдышаться. Мы вырвемся, чтобы ударить в спину тем, кто держит в кольце наших! За дело, товарищи! За Ленинград!

Никакого «ура». Только сжатые кулаки, кивки, хриплое дыхание. Этого было достаточно.

Начало было сокрушительным. Ранним утром, когда туман ещё стелился по болотам, грянула артподготовка такой чудовищной силы, что земля под ногами перестала быть твёрдой – она ходила ходуном, как кожа на барабане. Небо превратилось в сплошное, пульсирующее багровое зарево. Казалось, после такого шквала на той стороне не может уцелеть ничего – ни камня, ни живой души. Когда они поднялись в атаку, то кричали не «ура» – совершенно неуместное сейчас. Кричали сдавленное, вырванное из самой глотки: «Вперёд! За Ленинград!» И немецкая оборона на их участке, оглушённая, действительно дрогнула, поползла.

Лёня бежал в первой цепи, спотыкаясь о взрыхлённую, дымящуюся землю, стреляя на ходу короткими, экономными очередями в мелькающие серые фигуры, выскакивающие из развороченных блиндажей. Впервые за всю войну (какая там война – за всю свою короткую, но бесконечно длинную жизнь) он не просто отбивался. Он наступал. Он шёл вперёд. И с каждым метром растоптанной немецкой колючки, с каждым захваченным и забросанным гранатами дзотом в его груди, где лежал камень ненависти, расправлялась какая-то старая, блокадная скованность. Ощущение безнадёжности, обречённости. Они могли! Они могли не просто держаться – они могли гнать и бить этого гада.

За день они прошли почти три километра – расстояние, немыслимое для позиционных боёв в этих болотах. Заняли первую линию немецких траншей – глубоких, оборудованных, пахнущих чужим кофе, табаком и страхом. Ночью, закрепившись на трофейных позициях, они делились трофеями: бутылкой шнапса, плитками горького шоколада, консервами. Лёня не пил и не ел. Он сидел, прислонившись к бревенчатой стенке блиндажа, и тщательно, до блеска, чистил свою винтовку с выцарапанной звездой. А ещё он слушал. Далеко-далеко, на западе, сквозь гул близких разрывов и крики раненых, пробивался другой гул – более низкий, мощный, непрерывный. Казалось, вот-вот, ещё немного, и оттуда, с того направления, донесётся ответный раскатистый гром – голос армий Ленинградского фронта, рвущихся им навстречу. Сердце билось в такт этому далёкому гулу – надеждой.

Ладога, сидевший рядом и жевавший трофейный сухарь, предупреждающе качал головой, словно угадывая его мысли.

– Не обольщайтесь, орлы, – хрипел старик, сплёвывая крошки. – Фриц – он как гадюка: если отполз, значит, приготовился укусить сбоку. Впереди болота почище этих. И леса, где легко засаду устроить. Это они нас на удобное место заманивают.

Старик оказался прав до жути. На следующий день небо затянуло сплошной низкой облачностью, сея мелкий, противный дождь. Авиация не работала. Они уткнулись в бескрайнее, непроходимое даже для одиночного пехотинца весеннее болото, изрытое ручьями, трясинами и чёрными глазницами воронок. Дорог не было. Те немногочисленные танки и пушки, что удалось втащить в прорыв, вязли по самые башни, становясь беспомощными мишенями. А немцы, отступив на заранее подготовленные, укреплённые позиции на редких сухих гривах, встретили их не растерянным, а шквальным, организованным, убийственно точным огнём.

Прорыв захлебнулся. Не оборвался – захлебнулся, как человек, наглотавшийся воды. Дивизия не была разбита. Она увязла. В прямом и переносном смысле. Каждый следующий метр теперь давался не яростью, а кровью. Они шли через болота по грудь в ледяной коричневой жиже, потом карабкались на обледенелые, глинистые склоны под кинжальным огнём пулемётов, установленных на вершинах. Наступление превратилось в череду мелких, отчаянных и невероятно кровопролитных боёв за безымянные высотки, за кривые, одинокие сосны, за промерзшие кочки, которые на карте даже не были обозначены.

Лёня забыл о счёте дней. Ощущение времени расползлось, как грязь в болоте. Жизнь свелась к примитивному, животному циклу: ночной марш-бросок по колено в ледяной жиже, сдерживая стон от усталости; короткий, яростный, до темноты в глазах, бой за очередной клочок суши; попытка окопаться на этом клочке под миномётным обстрелом; короткая, тревожная дрема; и снова марш. Патронов в подсумках становилось меньше. Гранаты кончились одними

из первых. Но хуже того – кончались люди. Рота, в которую его определили, таяла на глазах. Знакомые лица исчезали одно за другим, заменяясь новыми, которые исчезали ещё быстрее.

Однажды, отбивая очередную яростную немецкую контратаку на захваченном бугре, он увидел, как пуля, просвистевшая со свистом разрываемого воздуха, срезала Ладогу. Старый солдат не вскрикнул, не упал. Он просто осел на дно окопа, тихо, беззвучно, будто, внезапно устав, решил присесть отдохнуть. Лёня, отстреливаясь, подполз к нему, попытался ладонью, потом комком бинта заткнуть тёмное, быстро расползающееся пятно на его гимнастёрке чуть ниже ордена Красной Звезды.

Ладога открыл глаза. Узнал его. Взгляд был уже мутным, уходящим куда-то вглубь.

– Не тужи… – прошептал он, и губы почти не шевельнулись. Кровь выступила в уголке рта. – Держались… честь по чести… Теперь твоя очередь… до самого…

Он не договорил. Взгляд застыл, остекленел, уставившись куда-то поверх Лёни, в низкое серое питерское небо, которого он так и не увидел, ради которого здесь и держался.

Лёня не плакал. Слёз не было. Была только пустота, мгновенно заполняющаяся новым, ещё более тяжёлым, металлом. Он аккуратно расстегнул пуговицу на гимнастёрке старшины, снял с его груди орден Красной Звезды. Металл был тёплым от тела, один из углов звезды был залит свежей липкой кровью. Лёня сунул его в свой нагрудный карман, туда, где лежала потёртая фотография. Теперь у него было два долга. Личный – дойти до Берлина за отца и мать. И фронтовой – дойти за Ладогу, за всех, кто остался в этих болотах. Оба долга вели в одну сторону. На запад.

В июне, когда болота наконец начали понемногу подсыхать, превращаясь в липкую, но проходимую грязь, немцы, получившие подкрепления, перешли в мощное, решительное контрнаступление. Их цель была ясна – окончательно срезать, уничтожить этот беспокойный выступ, этот незаживающий нарыв в своей обороне. И именно тогда, в одной из таких контратак, Лёня получил своё.

Это произошло глупо, нелепо, по-окопному буднично. Не в лихой штыковой атаке, не при взятии высоты. Они просто отбивались в окопе от наседающей немецкой пехоты. Патроны были на исходе. Лёня метнул свою последнюю гранату, и в этот миг, буквально в метре от бруствера, с мягким, глухим «хлюпом» разорвалась немецкая миномётная мина. Его не оглушило, не сбило с ног взрывной волной. Он просто почувствовал, как в бедро и в правый бок словно вбили сразу несколько раскалённых, острых гвоздей. Боль была не мгновенной, а пришедшей через долю секунды – жгучей, рвущей, всепоглощающей. Он посмотрел вниз. Шершавая шинель быстро, прямо на глазах, темнела, становясь тяжёлой и мокрой.

– Санитара! Глебова ранило! – закричал рядом Фёдор, голова которого была перевязана окровавленной портянкой.

Санитары, два истощённых паренька с огромными санитарными сумками, подползли только через час под непрекращающимся шквальным огнём. Наложили жгут выше раны на бедре, от которого тут же начало ломить всю ногу, оттащили его в глубокую воронку, потом, уже под покровом сгущающихся сумерек, потащили на плащ-палатке в ближайшее укрытие – полуразрушенный блиндаж. Боль была тупой, давящей, заполняющей всё сознание. Но сквозь её марево Лёня видел клочок вечернего неба в проломе крыши. И думал не о боли, не о себе. Он думал: «Я не дошёл. Я не пробился. Я подвёл. Остановился». Чувство было в тысячу раз горше любой физической боли – чувство невыполненного долга, оставленного дела.

Его вместе с десятками других раненых начали выносить с передовой. Обратно. По тем же самым болотам, по которым они с таким трудом пробивались вперёд, теперь под обстрелом тащили назад. Эвакуация до относительно безопасного места заняла двое суток бесконечного кошмара – тряски на волокушах, криков от боли, ожидания следующего разрыва. В конце концов он очнулся в полевом госпитале, устроенном в бревенчатом, продуваемом всеми ветрами сарае. Пахло йодом, кровью, гноем и смертью – знакомым букетом. Какой-то врач с трясущи-

мися от бессонницы и перенапряжения руками кое-как вытащил из него несколько осколков (самый крупный он, бледнея, показал Лёне – тёмный, рваный кусок железа) и зашил раны грубыми, торчащими узлами.

– Повезло тебе, сынок, – сказал врач, вытирая окровавленные руки о фартук. Голос его был пустым. – Кости целы, крупные сосуды не зацепило. Но нога… ходить будешь, но хромота, думаю, останется. И в пехоту тебе – ни-ни. Месяца на три, а то и больше, в тыл. Надолго.

«В тыл». Слово прозвучало не как спасение, не как передышка. Оно прозвучало как приговор. Как клеймо. Как дезертирство. Он закрыл глаза, отвернулся к стене, пропахшей сосновой смолой и мышами.

Его везли в Москву в длинном санитарном эшелоне. Он лежал на верхних жёстких нарах и через открытую настежь дверь теплушки смотрел на мелькающую за окном «Большую землю». Леса, зелёные поля, мирные деревеньки с дымком из труб, женщины с коровами у околицы. Земля, о которой они мечтали в котле, ради которой терпели голод и холод. Он должен был радоваться спасению, этому миру, этой жизни. Но сердце было пустым и тяжёлым, как тот осколок, что вытащили из него. Каменным.

В Москве его поместили в светлый, пахнущий лекарствами и чистотой госпиталь. Здесь были белые простыни, сестры в накрахмаленных халатах, регулярное питание. Однажды утром медсестра, раздавая палате сводки «Красной звезды», остановилась у его койки.

– Твоя, наверное? – негромко спросила она, указывая на короткую, в две строчки, заметку в самом низу колонки.

Лёня взял газету. Взгляд скользнул по строчкам: «…В ходе продолжающихся боев на Волховском направлении, выполнив поставленную боевую задачу и нанеся противнику значительный урон, расформирована стрелковая дивизия…»

Он не дочитал. Газета выпала из ослабевших пальцев и, шурша, упала на пол. Расформирована. Не «выведена на переформирование». Не «отведена на доукомплектование». Расформирована. Значит, остатки, горстку уцелевших, влили в другие части. Значит, боевое знамя дивизии свернули. Сдали в архив. Значит, их отчаянный, кровавый рывок навстречу Ленинграду, все эти недели в котле, все эти смерти – были официально признаны… чем? Тактической необходимостью? Неудачей? Провалом?

В этот момент в нём что-то надломилось. Не вера в победу – она была непоколебима. Не воля – она только закалилась. Надломилась гордость. Солдатская гордость за свою часть. Он выжил. Отлеживается на чистой постели. А его дивизия – погибла. Его Ладога, Фёдор, Витька, лейтенант Калинин – все они остались там, в любанских болотах, став частью той грязи. А он… он живой свидетель их конца. И от этого было невыносимо стыдно.

Ночью он не сдержался. Впервые с того мартовского дня, когда умерла мать, когда он не смог выплакать ни слезинки, его прорвало. Он зарылся лицом в жёсткую больничную подушку, чтобы не слышали соседи, и тихо, беззвучно, сотрясаясь всем телом, зарыдал. Плакал не от боли в ранах. Плакал от стыда. От горечи незавершённого дела. От чувства, что он обманул их всех, оставив там, а сам выбравшись сюда.

Утром к его койке подошёл комиссар госпиталя. Пожилой, седой, с умными, уставшими глазами, видавшими многое.

– Ты из Волхова? – спросил он тихо. – Из «любанского» котла?

– Так точно, – хрипло ответил Лёня, не глядя на него.

– Лежи спокойно. Не терзайся. Твоя дивизия свою задачу выполнила. Блестяще.

– Какую задачу? – Лёня резко повернул голову, и в глазах его вспыхнул огонёк не веры, а вызова. – Мы не прорвались. Мы не соединились.

– Вы сковали на месте силы трёх отборных немецких дивизий, – строго, но без упрёка сказал комиссар. – Целых три. Месяцами. Их не перебросили под Ленинград зимой сорок второго, когда город висел на волоске. Их не отправили на юг, под Сталинград. Они бились с вами.

Грызли ваш клочок земли, теряли людей, технику, время. А в это время наша Ставка ковала резервы, укрепляла оборону, готовила удары. – Он присел на край койки, положил тяжёлую, костлявую руку на Лёнино плечо. – Твой Ленинград выстоял не только мужеством своих жителей. Он выстоял и ценою крови таких, как ты. Ценою жизни твоей дивизии, которая, находясь в глубоком тылу врага, сделала его тыл фронтом. Понимаешь? Не все победы измеряются километрами на карте и взятыми городами. Иногда победа – это просто не дать врагу сделать шаг. Не дать ему перевести дух. Вы этот шаг ему не дали. Вы оттянули на себя кулак, который мог убить. Это и есть победа. Суровая, без парада, но победа.

Лёня молчал, глядя в лицо комиссару. Потом медленно кивнул. Не потому, что сразу, всей душой поверил. А потому что отчаянно хотел поверить. Хотел, чтобы смерть Ладоги, гибель дивизии, его собственная кровь и хромота – не были напрасны. Чтобы в этой чудовищной мясорубке был хоть какой-то, пусть страшный, но смысл.

Он смотрел в высокое московское окно, за которым шумела листва летних деревьев. Где-то там далеко, на северо-западе, всё ещё в кольце, но уже дышавший полной грудью лежал его город. И теперь он знал – знал не умом, а нутром – что часть той невероятной стойкости, того «держались», была оплачена и его дивизией. Они не дошли до Ленинграда. Но они помогли ему выстоять. Своей гибелью.

Позже, когда комиссар ушёл, Лёня достал из-под подушки свой солдатский медальон-капсулу, потёртую фотографию и окровавленный орден Ладоги. Разложил их на одеяле перед собой. Три предмета. Всё, что осталось от его стрелковой дивизии, которая не дошла до Берлина. Но которая, возможно, сделала всё, чтобы до него когда-нибудь дошли другие.

Его путь не закончился. Он просто сделал крутой, болезненный поворот, уводящий в сторону от передовой. Но теперь он знал, что ему предстоит. Найти новую дорогу на фронт. Любой ценой. Обойти, выпросить, выковать себе эту дорогу. Чтобы дойти. Обязательно дойти.

Глава шестая
Переформирование

Октябрь в Москве пах не так, как Ленинград в марте – смрадом разложения и ледяной пустотой. И не так, как Любань, – гарью, болотной гнилью и смертью. Он пах пожухлой листвой в скверах, сладковатым дымом из тысяч труб, горячим машинным маслом и… войной. Но войной другой, приглушённой, превращённой в процесс. Она гудела тяжёлыми моторами грузовиков, грохотала составами на запасных путях вокзалов, скрипела тормозами эшелонов, увозящих на запад всё новые и новые дивизии. Она проступала в глазах – в пустых, остановившихся глазах инвалидов, толпившихся на вокзальных площадях; в напряжённых, озабоченных лицах штабных офицеров; в суетливой серьёзности девушек-регулировщиц.

Здесь были хлеб – настоящий, не блокадный суррогат. Электричество – лампочки горели ровно и ярко, не мигая. Тепло в палатах госпиталя – паровое, сухое, равнодушное. Здесь спасали. Но Лёня не чувствовал себя спасённым. Он чувствовал себя отозванным. Как исправную, но требующую профилактики деталь, снятую с боевой машины в самый разгар рейса. Он был не на своём месте. Его место было там, где гремело и пахло смертью, а не здесь, где пахло лекарствами и супом.

Выписывали его в серое, промозглое утро. Рана на бедре затянулась плотным багровым некрасивым шрамом, стягивавшим кожу. Хромота осталась – лёгкая, но заметная, напоминавшая о себе при каждом длинном шаге, о том, что тело уже не целое. Но ходить он мог. Более того – мог бежать, припадая на больную ногу. Этого было достаточно.

Врач, тот самый, что оперировал его с трясущимися от усталости руками, теперь выглядел отдохнувшим, почти спокойным. Он протянул Лёне сложенный листок.

– Вот тебе направление. На переформирование. Балашов, Саратовская область. – Он посмотрел на Лёню поверх очков. – Там собирают новую дивизию, точнее, собирают заново 266-ю. Старое ядро, новые пополнения. Поедешь туда.

Лёня взял листок, даже не развернув, не прочитав ни слова. Вопрос был риторическим.

– Я должен, – ответил он просто, глухо. Не «хочу», не «мечтаю». Должен. Это слово стало его внутренним стержнем, единственным компасом.

Он вышел из ворот госпиталя. Осенний московский ветер ударил в лицо, неся с собой запах мокрого асфальта и угольной пыли. На нём было его потрёпанное, но тщательно вычищенное, выглаженное обмундирование. За спиной – тощий вещевой мешок, в котором лежало всё его земное имущество: мамин продовольственный аттестат (бумажный призрак), фотография втроём, окровавленный орден Ладоги, который он должен был передать его родным по окончании войны. Пара заштопанных портянок, пустой котелок. И новая, пахнущая свежей типографской краской красноармейская книжка. Он открыл её. В графе «часть» аккуратным почерком писаря было выведено: *«1008-й стрелковый полк, 266-я стрелковая дивизия»*.

«Теперь это мое направление». Мысль ударила в грудь не болью, а странной, щемящей жарой. Неужели ближе к Берлину?

Дорога в Балашов заняла четверо суток. Санитарный эшелон шёл медленно, с бесконечными остановками, пропуская на перегонах составы поважнее – платформы с новенькими Т–34, крытые брезентом зенитки, длинные вереницы вагонов с углём для военных заводов. Лёня ехал уже в обычной теплушке, набитой такими же, как он, «возвращенцами». Людьми с шрамами, хромотой, пустыми глазами и новенькими, ещё не обтёртыми документами. Были и новобранцы – мальчишки семнадцати-восемнадцати лет, с гладкими, незагорелыми лицами, с наивным, нестёртым страхом и любопытством во взгляде. Они робко, почти благоговейно поглядывали на «фронтовиков», на их ордена, на молчаливые, невидящие лица.

Лёня почти не разговаривал. Он сидел у двери, приоткрытой для воздуха, и смотрел в щель на мелькающую за окном страну. Бескрайние осенние поля, пожухлые леса, маленькие станции с плачущими женщинами и кричащими по громкоговорителю дикторами. Страна катилась на восток – эвакуированные заводы, институты, люди. А он, против течения, ехал на юг. К месту нового сбора. Нового начала. В голове поверх стука колёс звучали слова госпитального комиссара: «Не все победы измеряются километрами на карте». Логично. Мудро. Но Лёня, стиснув зубы, думал другое: а его победа будет измеряться именно километрами. Километрами до Берлина. И больше ничем.

Балашов встретил их осенней слякотью, превратившей улицы в коричневые реки, и резким, солёным запахом степного ветра. Город был наводнён военными. По улицам маршировали колонны в тренировочном обмундировании, у вокзала сновали штабные «эмки» и грузовики, в низком сером небе гудели неуклюжие учебные «кукурузники» У–2. Здесь не пахло гарью, порохом и смертью. Здесь пахло потом. Потом тысяч мужских тел на плацу и пылью, взбиваемой сапогами на бесконечных строевых занятиях. Пахло тяжелой, монотонной, изматывающей работой по созданию войны.

Лёню и ещё два десятка таких же «стариков» привезли в расположение 1008-го стрелкового полка – в бывшие царские, а теперь советские казармы на самой окраине. Всё здесь было новым, непривычно чистым и правильным после окопной грязи и хаоса: побеленные стены, аккуратно заправленные койки, даже печки-«буржуйки» в казармах топили исправно, давая ровное, скупое тепло. Но в воздухе, несмотря на чистоту, висело то же самое, знакомое до боли, напряжение – напряжение перед прыжком. Ни завтрашним, ни послезавтрашним. Но прыжком неизбежным.

Его принял старшина роты – сухопарый, жилистый, с лицом, похожим на высохшую корягу. На его поношенной гимнастёрке рядом с советскими знаками отличия алела георгиевская лента – ещё с германской, Первой мировой. Человек, видевший две войны.

– Глебов? – Старшина взглянул на бумагу, потом на Лёню. – С Любани?

– Так точно, – отчеканил Лёня.

– Жалко, что не все такие. – Старшина хмыкнул не то с одобрением, не то с усталой горечью и сделал отметку в толстой журнальной книге. – Полк у нас новый. Только что сколочен. Половина – зелёные пацаны, только что с сельхозработ. Другая половина – такие, как ты, «окопные крысы». Ваша задача – научить первых не бояться и не дурить. А вторых… – Он прищурился. – Вторых научить не звереть. Чтобы не бросались на пулемёты с голыми руками от ярости. Понял? Война – дело, а не мордобой.

Лёня кивнул. Он обвёл взглядом казарму. Здесь было шумно, но шум этот был иным: не предбоевое гудение, а гул сосредоточенной деятельности. Кто-то на нарах тщательно чистил новенькую винтовку, кто-то у окна, прищурившись, выводил буквы в треугольнике письма, кто-то просто сидел на табуретке, уставившись в стену, впав в ту самую, знакомую Лёне отрешенность. В этих молчаливых, с потухшими глазами, он узнавал своих. Тех, кто уже глядел в лицо настоящей войне. Кто знал истинную цену шагу вперёд и звуку миномётного выстрела.

Вечером его вызвали в штаб полка – маленькую, пропахшую махоркой и свежей краской комнату. За столом сидел капитан, молодой, лет тридцати, но с глубокими тенями под глазами и сединой у висков. Рядом – политрук, худощавый, с пронзительным взглядом.

– Глебов Леонид Алексеевич. – Капитан, не торопясь, перелистывал его тонкое, но уже содержащее историю дело. – Ленинградец. Блокада. Ранение под Любанью… Орден. – Он поднял взгляд. – Ты знаешь, почему 266-ю дивизию восстанавливают именно здесь, в Балашове, а не где-нибудь под Москвой?

Лёня молчал. Догадывался, но ждал официального слова.

– Потому что отсюда ближе к Сталинграду, – тихо, но чётко сказал политрук. Его голос был без эмоций, констатация страшного факта. – Там сейчас решается всё. Исход войны. Наша

задача – не просто доукомплектовать часть до штата. Наша задача – сделать из неё кулак. Выковать, выдрессировать, настроить. Который ударит туда, где будет больнее всего. В самое пекло. Ты готов снова воевать? Не отсиживаться здесь, в тылу, а воевать по-настоящему?

Лёня посмотрел на него, потом на капитана. В его голосе не дрогнуло ничего.

– Я не прекращал, – сказал он. – Только место поменял. Из одного котла – в другой. Из учебного – в настоящий.

Капитан чуть дрогнул уголком губ – подобие улыбки.

– Хорошо. Зачисляю тебя командиром отделения во вторую роту. У тебя будет шесть человек. Трое – новобранцы, белый лист. Остальные – с опытом, но разным. Сможешь? Сможешь сделать из них не просто группу, а отделение? Которое будет слушать, думать и драться, как один?

Лёня закрыл глаза на секунду. Перед ним встал не капитан, а Ладога: его спокойные, хриплые объяснения у траншеи, его рабочий, без пафоса, подход к убийственному ремеслу войны. «Запомни это место. Завтра будем его гасить». Не «убьём врагов», а «погасим точку».

– Смогу, – выдохнул Лёня, открыв глаза. – Научу держаться. И драться.

На следующий день началась та самая работа. Не окопная, что была на Волхове – там учили выживать. Здесь учили побеждать. Системно, методично, до седьмого пота. Тактика наступления в степи, где не спрячешься за холмом. Штурм укреплённого пункта – не яростный бросок, а чёткое взаимодействие групп. Взаимодействие с танками – как не попасть под гусеницы своих, как прикрывать их от пехоты. Лёня учился сам, впитывая новые знания, и учил других. Он показывал, как правильно, даже в мёрзлой земле, рыть окоп не просто яму, а позицию с сектором обстрела. Как метать гранату не из-за укрытия, а так, чтобы осколки не достали своих. Как по характерному хлопку и свисту отличить выстрел миномёта от выстрела орудия и мысленно считать секунды до разрыва.

Новобранцы в его отделении смотрели на него с смесью благоговения, страха и жажды знаний. Особенно один – Сашка, долговязый паренёк из саратовской деревни, с румянцем во всю щёку и ещё не бритым пушком над губой.

– Товарищ командир, – робко спросил он однажды вечером, когда они в казарме чистили оружие, – а правда, что вы из блокады? Из самого Ленинграда?

– Правда, – коротко ответил Лёня, не отрываясь от затвора своей новой СВТ.

– И… много там людей погибло? От голода? – Сашкины глаза были широко открыты, в них читался не праздный интерес, а попытка понять непостижимое.

Лёня прекратил чистить, поднял на него взгляд. В этих чистых, ещё по-детски наивных глазах он не увидел ни страха перед ответом, ни жажды острых ощущений. Только вопрос.

– Достаточно, – тихо, но очень чётко сказал Лёня. – Достаточно, чтобы помнить каждого. И чтобы точно знать, зачем мы здесь.

Он не говорил с ними о личной ненависти, о жажде мести. Он говорил о необходимости. О том, что каждый, кто выжил в блокадном аду, и каждый, кто погиб в болотах под Любанью, оставили им, живым, долг. Долг отдать. Там, на фронте. И теперь этот фронт, эта точка приложения долга, называлась не Ленинградом, а Сталинградом. Это слово висело в воздухе казармы, в каждом приказе, в каждом взгляде командиров.

По ночам, когда в огромном помещении воцарялась тишина, нарушаемая лишь храпом и вздохами, Лёня доставал из вещмешка фотографию. Смотрел на смеющиеся лица: мама, папа, он сам – лето сорокового на Неве. Потом пальцами, уже привыкшими к этому жесту, находил в том же мешке твёрдый, холодный угол ордена Ладоги. Он больше не чувствовал той леденящей пустоты, что была с ним в комнате на Васильевском. Он чувствовал наполненность. Тяжёлую, грустную, но прочную. Как будто каждый, кого он потерял, не исчез, а шагнул внутрь него, став частью его воли, его решимости, его памяти. Не призраком, требующим отмщения, а союзником.

Однажды на общем построении зачитали приказ по дивизии. Дивизия получала новое знамя. Старое было утрачено. Но в приказе, который зачитывал сам комдив, были слова, заставившие Лёню выпрямиться: *«…сохранить и преумножить преемственность доблести, стойкости и высокого воинского мастерства личного состава 266-й стрелковой дивизии…»*

В конце октября полк подняли по тревоге среди ночи и вывели на плац – не для погрузки в эшелоны, а для неожиданного строевого смотра. По рядам пробежал сдержанный, напряжённый шёпот: «Проверка из Москвы. Смотрят, как формируемся, чему учат».

Никто не говорил вслух о фронте. Но все понимали: до Волги, до Сталинграда – ещё сотни километров и долгие, изматывающие месяцы учёбы. Однако напряжение в промозглом осеннем воздухе висело особое – не предбоевое, лихорадочное, а предварительное. Как перед запуском сложного, смертоносного механизма, который нужно проверить до последней заклёпки.

Перед строем Лёне как командиру отделения вручили новое оружие. Не старую, проверенную «мосинку», а самозарядную винтовку Токарева, СВТ–40. Он взял её. Она была непривычно лёгкой, почти изящной, со сложным, блестящим на скупом утреннем свете механизмом. Он осмотрел её, опробовал затвор – ход был плавным, без знакомого грубого скрежета. На прикладе из светлого, почти белого, дерева не было выцарапанных звёзд, следов копоти, вмятин, тёмных пятен чужой крови – ничего, что связывало бы эту вещь с настоящей войной.

Это было новое оружие. Чистое, стерильное, почти игрушечное в своей новизне. И он понял: теперь он сам должен будет оставить на нём свой след. Не царапину от штыка или осколка, а след делом. Кровью, потом, пылью дорог и пороховой гарью. Не скоро. Но обязательно.

Вечером того же дня, после всех нарядов, занятий и разборов, он стоял один у запотевшего окна казармы, глядя в тёмное, низкое небо над спящим Балашовом. В кармане гимнастёрки у него лежало письмо, которое он так и не отправил – отправлять было некому. Все адресаты остались в прошлом. Он вынул сложенный вчетверо листок, развернул, перечитал последнюю строчку, выведенную химическим карандашом ещё в московском госпитале, в порыве отчаяния и решимости: *«Иду назад. Через всю войну. До Берлина. И когда дойду – скажу всем вам, что долг выполнн».*

Он медленно, аккуратно сложил листок обратно, сунул в карман, к чужому ордену и фотографии. Письмо было не для отправки. Оно было напутствием. Заклинанием. Самому себе.

Он знал: впереди – не фронт. Впереди – долгая, монотонная, выматывающая душу и тело подготовка. Учения, марши на тридцать километров с полной выкладкой, стрельбы до посинения пальцев, ночные тревоги. Формирование не просто полка, а отлаженного, безжалостного механизма, который должен будет сработать без единого сбоя там, где это будет нужно Родине. И его место в этом механизме – не просто винтик. Он – носитель. Носитель памяти. Опыта. Той самой любанской стойкости, которой учил его Ладога. Теперь его очередь была учить других.

Он лёг на свою жесткую койку, положил сцепленные руки под голову. В казарме густо пахло махоркой, кожей сапог, потом и степной пылью, налипшей за день. Скоро зима вступит в свои права. Потом весна распустит траву на полигонах. И только тогда, возможно, снова Запад. Снова настоящая война.

Но теперь он был не один. У него было отделение – шесть пар глаз, смотрящих на него. Была дивизия, которая снова дышала, набирала силу, пусть и в глубоком тылу. Была цель, до которой нельзя не дойти. Нельзя, потому что за спиной у него стояли уже не только призраки родных, но и живые люди, которых он теперь вёл.

Он закрыл глаза. Засыпал с одной, чёткой, холодной, как сталь, мыслью, бившейся в такт сердцу:

Готовься. Учи других. Жди. Твой черёд ещё придёт. И тогда – ни шагу назад. До самого Берлина.

Глава седьмая
Миус. Исходная

Август под Ворошиловградом пах не как Ленинград – тленом и ледяной сыростью. Не пах, как Любань – болотной гнилью и разложением. Здесь пахло пылью – едкой, серой, мелкой, которая стояла столбом от каждого шага. Пахло горьковатой, пьянящей полынью, которую сапоги мяли миллионами. И главное – пахло порохом. Но не свежим, резким запахом близкого взрыва, а старым, въевшимся в землю, перемешанным с гарью и прахом. Степь, казалось, выгорела дотла. Не от огня – от войны. Растительность была выжжена солнцем, вытоптана гусеницами, изрыта воронками. Каждый подъём ноги поднимал целое облако едкой серой золы, въедавшейся в глаза, в горло, в поры.

Стояла невыносимая, мертвящая жара. Воздух дрожал над раскалёнными холмами, как над раскалённой сковородой, искажая очертания. Но настоящий жар, липкий и смертельный, был впереди. Там, где вдоль извилистой ленты реки Миус тянулись синие, дымчато-лиловые зубцы высот. Сопки. Господствующие высоты, утыканные бетонными колпаками дзотов, опутанные рядами колючей проволоки, начинённые смертью до самого нутра. Это был Миус-фронт. Немецкий «восточный вал», который Красная Армия безуспешно пыталась проломить уже два года. И теперь им, 266-й, предстояло броситься на эти укрепления в лоб.

Лёня стоял в неглубокой канаве – даже не окопе, а просто отрытой наспех щели в сухой, потрескавшейся земле. Она служила им исходным рубежом. Через несколько десятков метров начиналась нейтралка – открытое, простреливаемое насквозь пространство, усыпанное тёмными пятнами мин.

Рядом с ним, прислонившись к отвесной стенке канавы, курил, заслоняя ладонью тлеющую цигарку, его новый товарищ – Егор. Егор Семёнов. Бывший шахтёр из Донецка, призванный в зиму сорок второго, когда немцы уходили из его родного города. Крупный, медлительный, со спокойными, глубоко посаженными глазами и тихим, басовитым голосом. Они сошлись не сразу. Лёня, замкнувшийся в себе после Любани, был молчаливым, сжатым, как пружина. Егор – обстоятельным, чуть ироничным, с шахтёрской привычкой сначала осмотреться, а потом делать. Но однажды ночью, на рытье окопов под прицельным миномётным огнём, Егор, не глядя на Лёню, сказал в темноту, словно разговаривая сам с собой:

– У меня там, за этой самой Миус-рекой, семья осталась. Жена Анна. Две дочки – Маринка и Танюшка. Когда отступали – немцы угнали. Не знаю, куда. Говорили – на работы в Германию. А говорят… – Он сделал глубокую затяжку, и кончик цигарки осветил его суровое лицо. – А говорят, тех, кто не мог идти… в ямы. До сих пор не знаю. Писем нет. Ничего.

И Лёня, не думая, не сдерживаясь, ответил так же тихо, глядя в ту же черноту:

– Мой отец пропал без вести под Лугой. Мать и бабушка умерли в блокаду. От голода. Похоронил я их на простынях.

Больше они об этом не говорили. Не надо было. С той ночи между ними возникла незримая, но прочная связь – связь людей, у которых война отняла всё: дом, семью, прошлое. Оставив только долг. И этот долг был теперь их единственной реальностью.

– Говорят, там, на Саур-Могиле… – Егор не отрывал взгляда от синеющей в дымке главной высоты. – Бетон толщиной в три метра. С арматурой. И мины вокруг, как картошка в поле, насажены. Сюрпризами.

– Значит, будем выкапывать, – тихо, без выражения, ответил Лёня. Он проверял свою СВТ, уже не новенькую, а с первыми боевыми царапинами на ложе, с потёртым затвором. На прикладе, у самой антабки, он давно выжег раскалённым шомполом маленькую, аккуратную

звезду. Не для красоты, не для удачи. Это была метка. Его личная печать на оружии. Знак того, что он здесь, что это его винтовка, его война, его путь.

Их полк был брошен на самый, казалось бы, безнадёжный участок – у посёлка Степановка. Задача была ясна: взять первую линию траншей, попытаться вклиниться во вторую. Не прорвать фронт – это было пока невозможно. А сковать. Оттянуть на себя немецкие резервы, не дать им перебросить хоть одну дивизию, хоть один полк на север, к Курску, где шла гигантская, решающая битва. В сводках Информбюро это называлось красиво: *«активными боевыми действиями местного значения с целью сковать противника»*. На языке окопа, на языке солдата, это означало одно: лезь под пули, чтобы другие, там, на главном направлении, могли бить и побеждать. Быть живым щитом.

Перед самой атакой к ним в канаву приполз комбат, капитан Ветров. Молодой ещё, но уже поседевший у висков, с лицом, обветренным степными бурями.

– Бойцы, – сказал он хрипло, не повышая голоса, почти шёпотом, но так, что было слышно каждому. – Знаю, многие из вас уже хлебнули лиха. Под Ленинградом, под Любанью. Тут – война другая. Степь, открытое пространство, высоты, сплошная, глубокая оборона. Но суть та же: нам нужно пройти там, где они нас не ждут. Или там, где ждут меньше всего. Первую траншею будем брать быстро, на рассвете, пока темно. Потом – мгновенно закрепляться. Главное – не застрять под их артиллерией. Как только заняли рубеж – сразу, с ходу, окопаться. Хоть ложкой, хоть каской, хоть руками. Копайте, пока пальцы кровью не покроются.

Он перевёл взгляд с одного конца канавы на другой, остановился на Лёне и Егоре.

– У вас глаз уже намётан. Новобранцев за собой ведите. Не давайте им голову поднимать без дела, но и не давайте паниковать. И… – Он запнулся, как бы подбирая неказённые слова. – Берегите людей. Они нам ещё на Берлин понадобятся. Каждый. Понятно?

Когда комбат, сгорбившись, уполз обратно по ходу сообщения, Егор тихо хмыкнул:

– На Берлин… А до той самой Саур-Могилы, с её трёхметровым бетоном, километра три по прямой. И то если живыми доберёмся.

Лёня не ответил. Он смотрел не вперёд, на вражеские высоты, а на восток. Там, за спиной, за сотнями километров пыльных дорог, лежали тысячи километров его старой жизни. Могила матери на Пискарёвке (предположительно). Сгоревшие в «буржуйке» отцовские книги. Холодная, пустая комната на Васильевском. Окровавленный орден Ладоги в кармане. Вся его война, вся его боль, вся его квитанция от судьбы. А впереди? Впереди – всего несколько сотен метров открытой, выжженной степи, напичканной сталью, взрывчаткой и огнём. Весь его долг, вся его судьба свелись к этому отрезку земли между краем канавы и первой линией ржавой немецкой проволоки.

Он, преодолевая внезапную сухость во рту, достал из нагрудного кармана гимнастёрки фотографию. Она была уже сильно потёрта на сгибах, бумага начала расслаиваться, но лица ещё можно было разобрать. Мама, папа, он – лето сорокового у Невы. Все трое смотрят в объектив и смеются. Настоящим, беззаботным смехом, которого больше не будет никогда.

– Родные? – тихо спросил Егор, бросив окурок и притоптав его сапогом.

– Да, – коротко ответил Лёня. – Все.

Он не сказал больше ни слова. Не нужно было. Егор, кажется, понял всё без слов. Он молча кивнул, полез в свой карман и достал свою фотокарточку – маленькую, чёрно-белую. На ней улыбающаяся женщина с тёмными волосами и две маленькие девочки в одинаковых белых платьицах, с бантами.

– Мои, – сказал Егор просто, глядя на карточку, будто пытаясь через неё увидеть их самих. – Может, живы. Может, уже нет. Но пока я жив – они со мной. И я за них дойду до логова зверя. А когда дойду: разнесу все в пух и прах…

Они спрятали фотографии, аккуратно, как величайшие ценности. Больше говорить было не о чем. Все слова уже сказаны, все клятвы даны. Оставалось только ждать. Ждать сигнала, после которого начнётся ад.

Сигнал пришёл в четыре утра. Сначала небо на западе, над немецкими позициями, не вздрогнуло – оно разорвалось. Сотни орудий и «катюш» с нашей стороны обрушили на высоты ураган огня и стали. Земля под ногами перестала быть твёрдой – она ходила ходуном, вздымаясь и опадая, как живая. Воздух наполнился воем, свистом, грохотом, сливавшимся в один непрерывный, оглушающий рёв. Над немецкими траншеями встали чёрно-багровые фонтаны взрывов, перемешанные с клубами дыма и пыли. Казалось, после такого шквала там не может уцелеть ничего живого – ни камня на камне, ни солдата в блиндаже.

Но когда через сорок минут, оглохшие и ослепшие от грохота, они поднялись по сигналу ракеты в атаку, из первой линии немецких траншей ударили пулемёты. Немцы успели укрыться в глубоких, бетонированных бункерах и теперь, выбравшись, встречали их организованным, шквальным огнём. Полоса смерти ожила.

Лёня бежал, пригнувшись почти к земле, крича своему отделению, перекрывая грохот: «Не отставать! Бежать змейкой! Не кучковаться!» Пули щёлкали по сухой, раскалённой земле вокруг, вздымая фонтанчики пыли, с визгом рикошетя от камней. Рядом с ним, слева, упал кто-то из новобранцев. Сашка. Тот самый долговязый паренёк из-под Балашова, что спрашивал про блокаду. Он не вскрикнул. Просто осел, как подкошенный колос, и остался лежать, маленький и тёмный, на серой земле.

Лёня не остановился. Он даже не обернулся. Он знал это железное правило, выученное в Любани ценой крови: остановиться на открытом месте – значит подписать себе и другим смертный приговор. Он бежал, чувствуя, как горят лёгкие, как ноет старый шрам на бедре. Добежал до первой линии проволоки. Сапёры успели проделать в ней несколько проходов ножницами и трофейными зарядами. Он швырнул в один из проходов гранату, чтобы подавить возможную засаду, и первым, не раздумывая, прыгнул в зияющую чёрную щель первой траншеи.

Там уже кипел ад. Узкое, глубокое пространство было заполнено дымом, криками, вспышками выстрелов. Немцы, закопчённые, злые от бессонной ночи под обстрелом, лезли из боковых ходов, из блиндажей. Лёня выстрелил почти в упор в серую фигуру, возникшую перед ним, оттолкнул падающее тело плечом и побежал вправо вдоль траншеи, стреляя короткими очередями в мелькающие в полумраке тени. Сзади тяжёлой, уверенной поступью шёл Егор, как скала, как броневой щит. Он не бежал – он двигался, прикрывая Лёнину спину, методично швыряя гранаты в амбразуры дзотов, из которых ещё били пулемёты.

Их отделению, вернее, тому, что от него осталось после броска по открытой степи, удалось зачистить и занять участок траншеи метров двадцать. Немцы, не выдержав яростного напора и гранат, откатились во вторую линию, за ближайший поворот.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.